

Некод Зингер
Черновики Иерусалима

ИП «Центр современной литературы»

Зингер Н.

Черновики Иерусалима / Н. Зингер — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-120-1

Книга «Черновики Иерусалима» — приключение, кажущееся на первый взгляд беззаботной и легкой постмодернистской игрой, в то же время претендует на нечто большее, а именно: на создание необходимого всякому горожанину пространства, насыщенного литературной реальностью в той же степени, в которой оно насыщено политической, исторической, религиозной и т.д., и т.п. Без этой литературной сферы жизнь представляется невозможной, так же как невозможна она без атмосферы и, скажем, без биосферы. Таким образом, речь в прямом смысле этого слова идет о насущном градостроительстве. Это отсутствовавший до сих пор в мировой литературе корпус художественных текстов о городе, чей генезис в современной культуре уникален и парадоксален. С одной стороны, Иерусалим на протяжении столетий находится в эпицентре нашей цивилизации, с другой — художественные тексты (в отличие от теологических и антропологических), содержащие в себе подлинные картины Иерусалима и жизни его обитателей, а не условный Святой Град, можно сосчитать по пальцам, да и те не являются созданиями классиков первой величины. И это несмотря на то, что многие из оных классиков в разные эпохи посещали Святую Землю. «Автор» (кавычки в данном случае — неизбежный инструмент тотально ироничного отношения повествователя к вопросу о собственном авторстве) постарался восполнить этот пробел в истории и практике литературы.

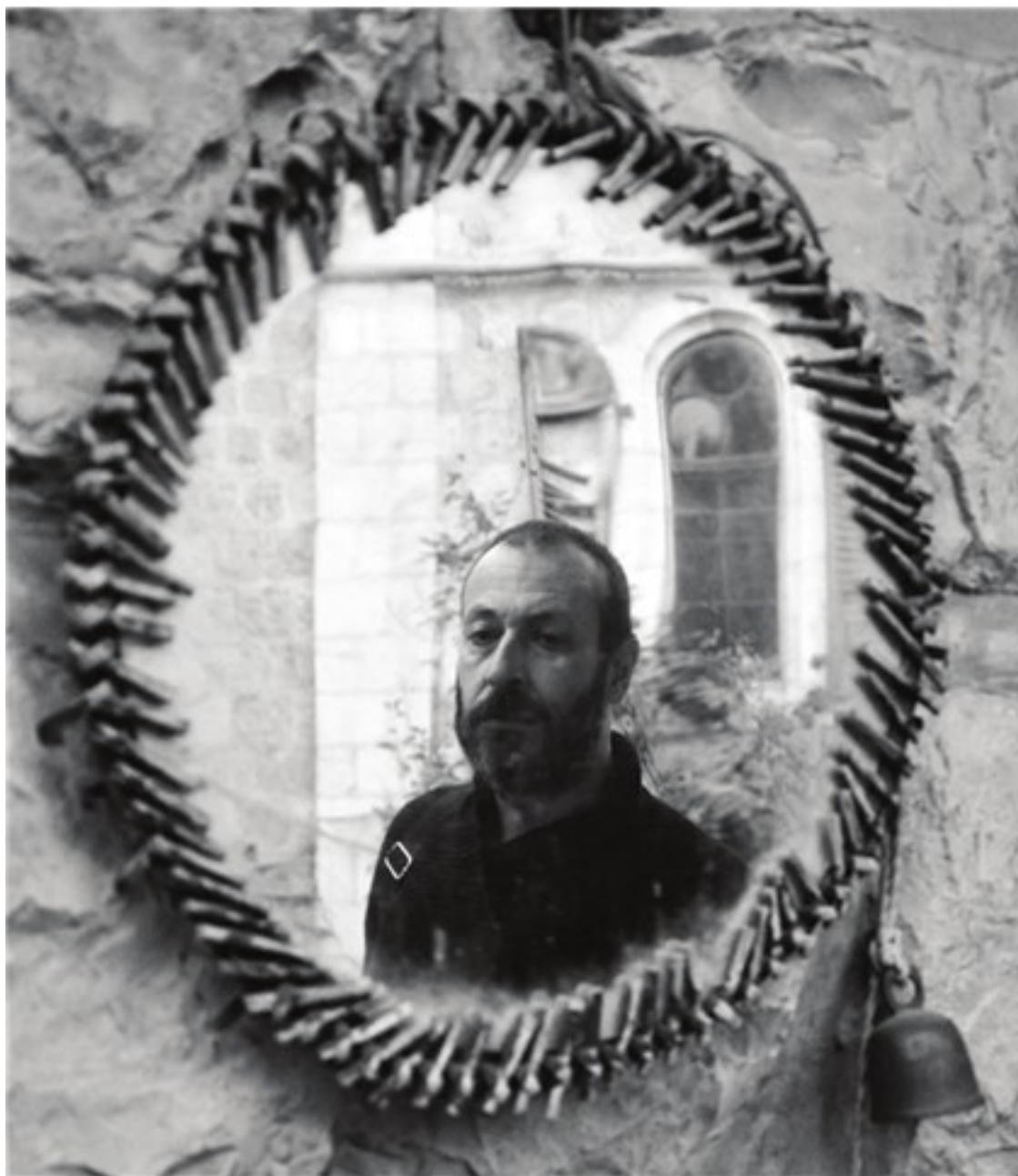
ISBN 978-5-91627-120-1

© Зингер Н.
© НП «Центр современной
литературы»

Содержание

Черновики Иерусалима	8
Нет, это не Рио-де-Жанейро!	12
Неопубликованный рассказ Г.К.Честертона	20
Путешествие Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена из Константинополя в Венецию, Иерусалим и обратно	30
Куда ни глянь, кругом Иерусалим	34
Дерматинный портфель	40
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Некод Зингер Черновики Иерусалима



автор во дворе армянской церкви в Иерусалиме
(фото Гали-Даны Зингер)

Некод Зингер родился в 1960 г. в Новосибирске.

Художник, писатель, переводчик («Лето на улице Пророков» и «Путешествие в Ур Халдейский» Д. Шахара, «С кем бы побегать» Д. Гроссмана).

Автор романа-биоавтографии «Билеты в кассе» («Мосты культуры», 2006). Соредатор двуязычного литературного журнала «Двоеточие» (совместно с Гали-Даной Зингер). Участник более 50-и израильских и международных выставок.

Живет в Иерусалиме.

Главы и фрагменты из книги «Черновики Иерусалима» публиковались в многочисленных периодических изданиях в оригинале и в переводах на английский, венгерский и иврит.

Над романом надо думать много и с удовольствием.

Ничего столь глубоко веселого я со времен Дон-Кихота не читал.

В общем, получаешь огромное, огромное удовольствие, это безумно здорово, правда – вот так берешь в руки – и мир светлеет, и неохота откладывать.

На мой взгляд, эта книга (жанр ее я затрудняюсь определить), кроме того, что отличная проза, – еще и совершенно новаторская. В ней – с помощью персонажей русской и мировой литературы и истории, давно ставших архетипами культуры, исследуется и развивается образ Иерусалима. Такой метод – кроме того, что нов, поразительно интересен и важен.

Александр Иличевский

Читать прозу Зингера – наслаждение. Наслаждение от игры слов и образов, от тонкого и умного юмора, от узнавания цитат и парафраз, наслаждение удивления, наконец, потому что текст удивляет постоянно, его повороты непредсказуемы и фантастичны, как и протеическое сознание автора.

Шломо Крол

Письмо "Черновики" Некода Зингера – это перформативное картографирование в духе вечных возвращений, наполняющих пустое "место пространства" – мифологическую структуру идеального Города современной литературы. Это полилог, размещенный в огромном и неохватном текстовом теле голосов, звучащих на разных частотах и диапазонах, где тексты подвергаются всевозможным трансформациям и трансмутациям – от нарочитого вызывающего украшения, до намеренных искажений – способа создания и продления жизни черновики, всех черновики мира, черновики литературных конструкций – текстовых городов, "которые являются черновиками Иерусалима".

Наталья Абалакова

Зингер создаёт «другую всемирную историю» <...>, но в ней реальность не столь уж другая. Мы узнаём её так, как узнают своё детство на чужих фотографиях. Автор относится к реальности так, как относятся к старшему поколению, к учителям – остраненно – опирается на её помощь, но не приближается вплотную, сохраняя для себя независимость и право на собственную версию жизни.

Елизавета Михайличенко и Юрий Несис

Черновики Иерусалима

Посвящается Гали-Дане

– Автора! Автора!

Гром аплодисментов.

– Автора! Автора!

Может это они нарочно? Вот вылезет автор на сцену, а они на него набросятся, да так отделают...

Вот дурачье-то. Автора им подавай! В нашем благословенном городе от этих авторов в поисках персонажа в глазах рябит. Иногда мне представляется, что все они высыпались из светло-серого томика Луиджи Пиранделло в серии «Библиотека драматурга», который, перед выездом из Риги на пмж в Иерусалим, я отнес, вместе с десятками других книг, в коммерческий магазин «Букинист» хромому долговязому Янису.

Янис скривился и тихо заныл: «Драматургииия! Я бы нии хотел!»

Пиранделло, однако, у него не залежался. Он исчез с верхней полки едва ли не на следующий день после того, как поддавшийся на уговоры Янис, кряхтя и трагически качая головой, запихнул его туда, вскарабкавшись на стремянку. Исчез, оставив в качестве прощального привета очень дорогие нам тогда пять, если не ошибаюсь, рублей.

Я вспомнил о Пиранделло и его «Персонажах в поисках автора» несколько лет назад, внезапно увлекшись новой игрой, которая в последнее время стала всё более и более настойчиво принимать форму книги.

Было мне тогда же сновидение. А в нем, кроме всего прочего, следующий диалог: «Ты чем нынче занят?» – «Да вот писать что-то такое начал». – «А что такое?» – «Вроде опять что-то такое... роман-не роман, альманах-не альманах». – «Вот ёть! Ну-ну... Число-то запомни». – «Семнадцатого сентября две тысячи шестого». – «А может, не стоит, всё-таки?» – «Поздно уже». – «Н-да... Только не играй, будь любезен, в те же самые игры. Лучше реши сначала, чего ты хочешь. А то снова, знаешь...». – «Да ничего я не хочу! Играю себе и играю, ничьи права не ущемляю, персонажей не обижаю, автора к позорному столбу не пригвождаю...»

Диалог этот происходил, как будто, внутри меня, и оба голоса принадлежали мне самому, в то же время, ничуть не напоминая тот знакомый мне голос, который я на протяжении жизни привык считать своим.

Уже долгие годы лишен я радости пробуждений того лета на улице Пророков, когда, открывая глаза навстречу внешнему миру, я знал, что меня ожидает прямой и последовательный, уверенный в своей объективности и подлинности, переход из сна в явь, словно из одной комнаты волшебного замка в другую. Та радость пробуждений с люющимся через край ликованием от предвкушения чудесных сюрпризов, ожидающих меня на каждом углу и в каждом лестничном пролете, существует ныне лишь в щемящих воспоминаниях и в наивной надежде на ее возвращение в один прекрасный день. Переход этот из сна в явь в познании того места, в котором я пребывал и которое намеревался обстоятельно обжить, загадывая провести в нем все отведенные мне в этом мире яви дни, оборачивался переводом из одной языковой реальности в другую. Сегодня, оглядываясь на то счастливое в своей юношеской наивности время, я понимаю, что процесс этот, казавшийся мне тогда необычайно важным, можно было бы назвать переливанием из пустого в порожнее, а перевод текстов вразброд контекстов заклеить справедливым презрением. Но стоило ли ломать копыя, стулья и прочий инвентарь, когда за всяким осознанием места и времени начинало сквозить ничуть не менее реальное осознание призрачности этого осознания, словно во сне, вошедшем в явь, меня продолжали преследовать неразрешимые вопросы, среди которых вопрос о том, чей же это был сон, оставался едва ли

не самым легким. Я спрашивал себя, существует ли на самом деле город Иерусалим – колыбель трех религий, единая и неделимая столица государства Израиль, или его присутствие – не более чем тяжеловесный фантом, порождение коллективного и несознательного, густое производное опиума для народа.

Тогда-то я и начал играть в эту игру, напоминающую постройку городка из разнородных деталей набора «Сделай сам», развивающего конструкторские способности ребенка. Для какого возраста предназначена эта игра? Еще один въедливый вопрос, от которого я отмахнулся, чувствуя в нем не угрозу даже, а, как говаривали в прежние эпохи, доуку. Почему бы не попробовать, если иной выход до сих пор никем не найден? Утопающий в реке времен хватается за соломинку в чужом глазу, как непременно сказала бы в подобном случае моя прабабка, великая аранжировщица народной мудрости. Чтобы не зависнуть в безвоздушном пространстве без малейшей опоры, я должен был сам построить свой город, используя практически неисчерпаемый подручный материал, небрежно разбросанный повсюду расточительными зодчими мировой культуры.

Бывают авторские города. Всякий, например, знает, что автор Петербурга – Петр Алексеевич Романов. Опять романов! Сколько можно романов! Существуют ведь в мире и совсем иные жанры. Иерусалим – город-мидраш, составленный из обрывков толкований толкования различных толкований, зачастую довольно бестолковых, всегда предельно непрозрачных. Выстроенная Сулейманом Великолепным городская стена, которую мы имеем возможность наблюдать и сегодня – разительный пример такого эклектического метода. Каких только деталей нет в ее кладке! Ученый малый, но педант различит грубо тесаные обломки иеусейских укреплений, выгрызенные жучком-червячком шамиром без помощи железа глыбы соломонова храма, иродовы блоки, адриановы монолиты, посильные вклады всяческих византийцев, крестоносцев и прочих саладинов. Вот один из них торчит наружу, словно грыжа – так называемый камень Робинзона, мы еще к нему вернемся в один прекрасный момент.

Итак, коллективное творчество: римлянин тащит, что плохо лежит у эллина и иудея, ставит на чужом кубике свое языческое тавро, поверх которого христианский король добавляет в качестве подписи свой крестик. И всё это ради того, чтобы хозяйственный турок заткнул этим кубиком пробоину в ограде нашей и вашей вечной столицы, смастряченной по тому же самому принципу, доведенному до совершенства, *ad absurdum*. Произведение именуется «Иерусалим», хотя бы временно, по чисто технической необходимости.

Дэннис Бэкингам, с которым я не раз встречался в конце прошедшего тысячелетия, говорил, что название «Иерусалим» слишком тяжеловесно и претенциозно для города, в котором мы живем, и его следовало бы сменить на какое-нибудь более легкомысленное, например, Пфефферкухен. Он, безусловно, прав. Пфефферкухен следовало бы сложить из кубиков таким образом, чтобы не жалко было одним движением развалить всю постройку. Слово «Иерусалим» невыносимо перегружено как смыслами, так и их отсутствием. Именно поэтому я не нахожу подходящего названия для своего проекта. И все же, приходится называть его, вослед множеству менее рефлектирующих сочинителей, Иерусалимом!

На чем это я прервался? Ах да, на авторах. Вот одного уже пришлось не особенно учтиво выставить за дверь. Вы его, вероятно, знаете: Александр Вертинский. С детства помню его грассирующее «арравийская песня, танго». И люди там застенчивы и мудры. И небо там, как синее стекло. И мне, уставшему от лжи и пудры, мне было с ни-ими... С кем – с ни-ими? С аравийцами что ли?

Потом историческая правда была восстановлена, если и не в вокальном варианте, то хотя бы в постсоветской печатной версии, где песня снова стала «палестинской». А с некоторыми из тех застенчивых людей мне посчастливилось водить дружбу здесь, в этом городе.

Поэту Соли Горовицу досталась от бабушки, «механэхет иврийá», книга «Шарль Бодлэрь. Цветы зла» в переводе Эллиса, книгоиздательства «Заратустра», 1908 года, тем самым

Вертинским подписанная. Он эту выцветшую зеленую книгу «съ портретомъ Бодлэра, съ вступительной статьей Теофиля Готье и предисловіем Валерія Брюсова» подарил мне в тот период, когда еще совсем не умел читать по-русски. Впрочем, с тех пор успел научиться, во время нашей совместной недельной поездки в Москву. А прогос Шарль – вся столица Российской Империи была увешана в том сентябре афишами Шарля Азнавура. «Почему Шарль?» – недоумевал Соли, вслух читавший по слогам все вывески и плакаты, «что это за б? Что за Шарль?»

Впрочем, Москва тут совсем ни при чем. В Москву мы еще вернемся в свое время, но уже в совсем другую эпоху и на других, если можно так выразиться, основаниях. А сейчас нам придется оставить Соли Горовица, старательно переписывающего в блокнот тексты плакатов, выставленных ветеранами у кремлевской стены. Тут его антропологическому интересу надолго хватит пищи, а впереди у него еще посещение мавзолея и неожиданная встреча с Мейталь Эврон в храме блаженного Василия, и хрестоматийное столкновение на Красной площади с мошенниками, обронившими кошелек, полный фальшивых долларов, и фотосессия на станции метро Новослободская – есть чем свой досуг занять. Мне же эта новая, постсоветская, совсем чужая Москва совершенно не нравится, в ушах упорно продолжает звучать надтреснутый долгоиграющий, тридцать три оборота в минуту, голос Вертинского: «Там живут чужие господа и чужая плещется вода. И так настойчиво и нежно кто-то из жизни нас уводит навсегда...»

Тем летом, когда контуры этой игры только-только начинали вырисовываться в моем сознании, я вернулся в свою мастерскую на улице Пророков, словно беглый барин в коморку дворника, вовсе не из Москвы, а из Парижа, из первой своей заграничной поездки. Помнится, Париж поразил меня тогда каким-то почти невероятным, простодушным соответствием своему заочно сложившемуся облику. словно все картины и звуки исходили не от реального города, а от укоренившегося в моем мозгу образа, суммировавшего всё то, что я видел и слышал раньше: в дождь он расцветал, как серая роза; в крошечном кафе на углу Рю Турбиго и Рю де Синь над круассаном и чашечкой кофе кружил рвущийся из радиоприемника с детства знакомый и родной голос Эдит Пиаф: падám, падám, падám; отражение Гали-Даны в луже на Понт Нёф, казалось, замешкалось там, по крайней мере, на полстолетия, пригвожденное к месту камерой Робера Дуано...

Иерусалим же показался по возвращении совершенно нереальным, наглухо задраенным со всех сторон. «Атíк сату́м» – повторял я, не веря ни глазам, ни ушам своим. Вот он – мой город, знакомый до слез и, в то же самое время, совершенно не узнаваемый, лишенный тех самых примет, которые в Париже едва ли не на каждом шагу бросались мне навстречу с распро-стертыми объятиями, предлагая на выбор кинематограф новой волны, пирожное Мадлен, пленэр импрессионистов... В Пфефферкухене приходилось ориентироваться по запахам: фалафеля в пите – угол Агриппы и Короля Георга V, раскаленной и пыльной сосновой коры в соединении с бензином – угол Штрауса и Пророков, окаменевшей мочи нескольких поколений – угол Шама и Йоэля Соломона.

– Что они делали все эти века? – раздраженно думал я, глядя с променада Хаз на золотой купол мечети Омара – местного эквивалента Эйфелевой башни, бесившей своей пошлостью еще Мопассана. – Метафизики, прости нам, Господи, прегрешения наши! Вот это нам предлагают в утешение? Мудрецы в одном тазу!

Не помню точно, в какой момент Гали-Дана протянула мне довольно тонкую книжку в потертой мягкой обложке с одноцветной фотографией окна в комнате, очень похожего на окно в моей мастерской на улице Пророков. Сквозь это окно в толстой каменной стене, с полукруглой розеткой в виде цветка вверху, открывался вид на двор с голыми деревьями и на черепичные крыши домов напротив. «Давид Шахар. Лето на улице Пророков» – прочел я. И справа по вертикали: «Чертог разбитых сосудов». Я не имел ни малейшего представления о том, что ожидает меня за этой обложкой и какие картины откроются мне за этим окном, но совершенно явственно ощутил легкий электрический удар того самого «стечения обстоятельств», которое

распожалоь всей моей жизнью с тех пор, как я себя помню, и которое Гали-Дана, раз за разом, всегда совершенно случайно, наяву приводит в точное соответствие с моими снами.

– Удивительное дело, – сказала она, – тебе это покажется забавным: один из героев, Гавриэль Луриа, сын турецко-подданного, носит белые штаны...

Нет, это не Рио-де-Жанейро!

«Теодор Нетте», пароход и человек, с тремястами последними сионистами Советской России на борту, миновал Стамбул и Лимасол, достиг берегов подмандатной Британской Палестины и встал на якорь в Яффском порту на восходе солнца 9 августа 1935 года. Изумленные пассажиры спускались на берег на закорках арабских грузчиков под томные завывания муэдзинов, лившиеся из липкого изжелта-серого поднебесья.

– Нет, это не Рио-де-Жанейро! – сказал Бендер, отирая высокий, полный горестных сомнений лоб тыльной стороной потной ладони и глядя на белые минареты и вялые пальмы, почему-то вызывавшие в его уме воспоминания о премьере оперы «Набукко» в летнем театре города Батума в 1921 году.

На таможне он долго препирался по поводу своего единственного багажа – потертого акушерского саквояжа, вызвавшего особые подозрения хмурого шотландского сержанта тем фактом, что не содержал в себе ничего, кроме толстой пачки рукописей на нескольких непонятных ему языках, вафельного полотенца и зубной щетки. У чиновника, занимавшегося его документами, Остап потребовал изменить значившееся в советском паспорте имя.

– На земле моих гордых предков я намерен вернуть себе исконное имя Асаф Луриа-Бендер. Мой дорогой папа никогда не простит мне, что под влиянием оскорбленной в своих чувствах матушки, графини ингерманландской Берты Марии Бендер, неожиданно узнавшей о троеженстве горячо любимого супруга, бывшего турецко-подданного, я согласился предать забвению его гордое двойное имя Иегуда Проспер и удовольствоваться постыдным отчеством «Ибрагимович», напоминавшим о тяжелом феодальном наследии Оттоманской империи. Андерстенд, май френд?

Сердечно простившись со своими спутниками по «Теодору Нетте», велевшими не пропадать и настойчиво звавшими его присоединиться к киббуцному движению, и выйдя, наконец, в мир, предприимчивый Асаф Бендер немедленно отправился по имевшемуся у него адресу. В доме Луриа его ожидала печальная весть о кончине старика, приключившейся несколько недель назад. Используя весь запас древнего языка строителей новой жизни, в котором совершенствовался во время долгого плавания, он побеседовал с яффской вдовой, которая сообщила ему адрес госпожи Луриа-второй, проживавшей в Иерусалиме с сыном, и вызвалась сопроводить безутешного сироту, ни словом не упомянутого в завещании, на кладбище, где покоился Иегуда Проспер.

– Благодарю, мадам! – ответил сильно заскучавший Асаф. – В следующий раз – непременно. Сейчас я весьма устал, дэ бато сюр ле баль, как сказал поэт.

Нищий наследник древнего рода пешком добрался до Тель-Авива, немного побродил по его парным улицам, поглазел на афиши Александра Вертинского, коими было увешано полукруглое здание кинематографа «Муграби», испил стакан мутной карамельной воды «газоз», полученной им в киоске у печального немецкого профессора с седыми моржовыми усами а-ля Фридрих Ницше, и понял, что больше на Холме Весны ему делать нечего.

– За дело, наследник пророков и повелитель бедуинов! Зря, что ли, я бросил высокооплачиваемую должность управдома в Лассалевском районе Черноморска и проделал долгий путь паломника? Рога трубят и призывают меня в Град Небесный.

Он въехал в Иерусалим на медленно ползшем по горам раскаленном английском автобусе.

– Конечно, чего можно ожидать от британского империализма! – ворчал он. – Белого осла для меня не нашлось. Впрочем, блудный сын должен быть благодарен хотя бы за отсутствие евангельских свинок...

Апельсиновое солнце опускалось за его спиной в зыбучие пески побережья. Новый репатриант Луриа-Бендер усмехнулся, вспомнив пророческую телеграмму «грузите апельсины бочками». Близость небес навевала прохладу. Позади был тряский четырехчасовой путь по пыльной и усеянной сухими терниями Святой Земле.

Переночевав в Народном Доме, в комнате, где вместе с ним на столах для занятий спало четверо делегатов съезда молодых педагогов, он позавтракал любезно предложенными ими томатами из Галилеи и вышел на нежашуюся в утренних лучах улицу Пророков. Миновав по пути сразу три больницы, он подошел к дому за каменной оградой напротив абиссинского консульства. Выбежавший из ворот длинноносый мальчик со стопкой книг подмышкой подтвердил, что это действительно дом семейства Луриа, добавив, что сын хозяйки, Гавриэль, недавно вернулся из Парижа.

На выходящем во двор балконе, сидя в обитом красным атласом кресле перед металлическим столиком о трех ножках, худой брюнет с маленьким квадратиком усов под длинным благородным носом брил опасной бритвой густо намыленные щеки, поглядывая в настольное зеркальце. При этом он рассеянно мурлыкал бретонскую народную песенку «На лугу я встретил дочь косаря». В этом же кресле когда-то сидел сам «старый турок», Йегуда Проспер Луриа-бек, сверкая в лучах заходящего солнца капельками алмазного пота на лысой голове. Но блудный сын этого не знал.

Остап потянул носом. В воздухе каменного двора витал тот явственный запах бедности, который пронизывал Иерусалим насквозь.

– У старого турецкого вельможи было бесчисленное количество сыновей и дочерей, – подумал он. – Куда там лейтенанту Шмидту! Но в историю литературы вошли только двое – Аси и Габи, бедные скупые рыцари печального образа. Любопытно, тепло теперь в Париже?

Сделав бойкому мальчугану на прощание ручкой, Луриа-Бендер поспешил по каменной лестнице навстречу судьбе. Гавриэль, не выразивший ни недоумения, ни подозрительности при неожиданном появлении фратрум экс махина, понравился Асафу. Но еще больше, чем сам Гавриэль, понравились неудавшемуся графу Монте-Кристо его белая панама, щегольской пиджак с золотыми пуговицами, трость с круглым серебряным набалдашником и особенно – тщательно отутюженные белые брюки, в которые тот облачился, когда новоявленные братья вышли прогуляться по городу.

– Они примиряют меня с несовершенством нашего мира, – думал Бендер, вышагивая рядом с братцем-щеголем. – Иерусалим, конечно, тоже не Рио-де-Жанейро. Подавляющее большинство граждан не ходит здесь в белых штанах, отдавая предпочтение инфантильным коротким штанишкам или же белым чулкам, торчащим из-под пыльных кафтанов. Но мой ближайший родственник всё же освоил эту похвальную моду, невзирая на скудость средств. Не мешало бы и мне последовать по его стопам. Вот улажу кое-какие организационные вопросы с сионистским руководством и закажу себе брючки из отбеленной чесучи в стиле шик-модерн вот хоть у этого портного Антигеноса, который, судя по тому, как безмятежно он прикорнул на пороге своей лавки, не слишком обременен заказами на армейские френчи для Чемберлена.

Миновав итальянскую, четвертую по счету, больницу, коими Господь щедро благословил улицу Пророков, братья вышли к Русскому православному подворью, намереваясь спуститься оттуда на оживленную Яффскую дорогу. Здесь Асаф с живейшим интересом осмотрел недавно раскопанную храмовую колонну, прозванную иерусалимскими мальчишками пальцем Ога, царя Вассанского.

– Очаровательный обломок прежней эпохи, – с удовлетворением заметил Луриа-Бендер. – Утерян клерикально-монархическими властями еще до исторического материализма. В наше прогрессивное время может быть использован в качестве подпорки под надстройку, грозящую обрушиться на базис, или, скажем, перста, указующего в направлении светлого сио-

нистского будущего. Но почему они держат его за колючей проволокой? Боятся, что кто-нибудь прихватит похода?

Тут произошло уже вовсе непредвиденное событие. Навстречу братьям, широко улыбаясь каким-то благодным мыслям в седую кудлатую бороду и шурясь на солнышко, двигалась облаченная в рясу и клобук коренастая фигура. Орлиный взгляд Асафа впился в знакомое доброе лицо.

– Батюшка! Теодор Иоканаанович! Архиепископ Военногрузинский! – воззвал Луриа-Бендер, кидаясь навстречу быстро мертвеющему священнослужителю.

Тот взвился на месте, как потревоженная горная куропатка, и, подхватив полы рясы и припадая на обе ноги, кинулся под спасительную сень православного храма.

– Удивительное дело, Габи, – заметил братец Аси, не имевший ни малейшего намерения преследовать несчастного страстотерпца. — Тут, кажется, собираются все лучшие представители человечества, независимо от их вероисповедания. Поразительный город! Я начинаю его любить. Интересно, какой йеменской пекарней галицийского уклона владеет бывший советский купец Кислярский и в каком сионистском учреждении трудится подпольный миллионер Корейко? Фамилию Александру Ивановичу пришлось, я думаю, сменить на какой-нибудь Бен Басар, но он и не к такому сумеет приспособиться. А может, он командует бандой бедуинов-головорезов и зовется Абу Кабаб?

На углу улицы Короля Георга Пятого братья расстались, договорившись встретиться позднее в кафе «Гат», где Гавриэль проводил большую часть дня, сидя над своими таинственными тетрадками.

– К обеду я разбогатею и утащу тебя обедать к Каменицу или в «Кинг Дэйвид», – заверил его Бендер. – Закажем себе какой-нибудь турен бордоле и венский шницель.

Следуя указанному младшим братом направлению, Асаф менее чем за пять минут достиг величественного современного здания Еврейских Фондов, полукружьем раскинувшего свои широкие гостеприимные объятия навстречу спешащим к родному гнезду рассеянными и угнетенными, и потребовал у вахтера немедленного свидания с главой Еврейского Агентства Моше Чертоком.

– Товарищ Шарет принять тебя не может, – дружелюбно объявил тощий дежурный по-русски, без всякого интереса повертев его паспорт. – У него дела поважнее наших с тобой проблем. Государство в пути, можно сказать. Ты, товарищ Луриа, запишись или к товарищу Ялалому-Диаманту, или к товарищу Захави, в зависимости от профиля. У тебя какого характера дело?

– Ну, скажем, культурно-просветительного, – предположил Асаф.

– Тогда тебе к товарищу Каспи, – дежурный начал листать толстую амбарную книгу. – Так... вот оно! Могу записать тебя, товарищ, уже на следующую неделю.

– Имка боска! – возмутился Бендер. – Это что же такое делается! Это какое-то халуцианское головотяпство. Я желаю строить новую жизнь, прокладывать дороги в светлое будущее, к которому мы пройдем победным маршем еkkлезиастов, читать свитки пророков без согласования, я из последних сил ломаю язык моих отцов Аврама, Исака и Иегуды-Проспера! И что же я получаю в ответ на свои пламенные порывы? Меня записывают на прием к низестоящему товарищу через неделю! Да известно ли тебе, юноша бледный со взором горящим, что за бумаги ждут в этом саквояже свидания с руководителями сионистского движения? Нет, тебе это неизвестно, да я и не уполномочен разглашать тайны государственной важности первому попавшемуся привратнику.

– Ну, если очень важное, то тогда лучше, всё-таки, к товарищу Захави, – передумал флегматичный дежурный. – Но это у нас на следующей неделе не получится...

– Ну и черт с ним, с твоим товарищем Захави! – не унимался Асаф. – Уйду отсюда напрямиком в бедуины и буду грабить караваны!

Тут дверь ближайшего кабинета отворилась, оттуда выглянула совершенно лысая голова в круглых очках и поинтересовалась:

– Что за шум? Опять ревизионисты бузят?

– Товарищ Рубинчик, тут новый репатриант требует срочного внимания.

– Что же вы нервничаете, дорогой еврей? – обратился лысый Рубинчик к Бендеру. – У нас голыми на улицах не ночуют. Я вам немедленно выпишу рабочую путевку на строительство Иерихонского шоссе с трехразовым питанием и настоящей койкой-раскладушкой.

– Это конгениально! – от такой наглости Бендер даже рассмеялся. – Вы чего-то недопоняли, драгоценный вы мой. Вот в этом скромном акушерском саквояже, коий я с трепетом держу в почтительных руках, находится клад, бесценный для всего образованного человечества, а особенно для нашего народа, возвращающегося, по слову поэта, «в страну Сион, в Ерушалаим». В его скромных недрах заключены рукописи десятков неопубликованных текстов, написанных на протяжении столетий об этом городе величайшими мастерами слова. Гете, Шатобриан, Шекспир, Симеон Полоцкий, Дани-эль Дефо, графы Толстой и Салиас! Записки очевидцев и фантазии гениев. Неопубликованные, прошу заметить! Полный архив, проливающий новый, хорошо забытый старый, свет на историческую физиономию нашей древней столицы. И я готов передать его руководству нашего непобедимого движения за смешную сумму в пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Британский Музей лопнет от зависти. Французская академия... Ах, да что там говорить! Если даже Иерусалим будет снова разрушен, его можно запросто воссоздать по этим записям. Я горд тем, что со смертельным риском для жизни вырвал эти сокровища духа из лап большевистского режима. Вот, например, неизвестная запись Марка Твена, датированная одна тысяча восемьсот шестьдесят седьмым годом: «Мистер и миссис Томас Сойер в поездке по Святой Земле заблудились в пещере Седекии, старина Джим подметает двор в отеле Американ Колони, напевая “Ух, как катит свои воды Иордан!”». Или, наоборот: Н.В.Гоголь, иерусалимский физиологический очерк «Похороны армяночки»... Бендер уже запустил руку в саквояж, но ответственный Рубинчик его остановил:

– Это вам, знаете, не к нам. С вашими бумагами обращайтесь в Еврейский Университет к Буберу или к Шолему. Только у них, предупреждаю вас заранее, денег нету. Ну и замашки у вас: пятьдесят тысяч! Вы что, с Луны свалились? А еще ученый человек. Да я вам за пятьдесят тысяч не то что до Иерихона шоссе проложу, я вам полный план мелиорации в три года... пятьдесят тысяч!

Асаф понял, что обедать в «Кинг Дэйвиде» сегодня не придется.

– А сколько по-вашему могут дать за эти рукописи в университете? – осторожно спросил он лысого руководящего работника.

– Если это действительно такое сокровище, как вы говорите, то они обратятся в попечительский совет с просьбой выделить им фунтов сто-сто двадцать... Но они предпочитают получать такие вещи в дар. Тут у нас, знаете, сколько исторических сокровищ? Где ни ковырни – свиток Мертвого моря.

Бендер явился в кафе Гат каким-то просветленным, едва не испускающим рентгеновские лучи в виде рогов, подобно пророку Моисею.

– Ах, Габинька! – сказал он, подсаживаясь за столик к возлюбленному своему брату. – Как я был наивен, веря в сказки о мировом еврейском капитале! Моя последняя и самая блестящая комбинация разбилась о спартанский быт одной отдельно взятой британской колонии. Боюсь, что ради спасения моей жизни, тебе придется заказать мне кофе и печенье за свой счет. Но это – в последний раз. Я решил начать новую жизнь. Я молодею на глазах, и седина, серебрящая виски, только мелочь в сравнении с золотом моего народного сердца. Возьму, например, заказ в академии имени товарища Веселиила. А что, воплощу, наконец, в жизнь свою давнюю идею эпического полотна «Сионисты пишут письмо муфтию Альхусейни». Тем более, что смерть Ильи Ефимовича у хладных финских скал снимает проблему авторского права. Или

же стану тружеником пера и напишу высокохудожественный и пространный биографический свиток во славу товарища Рубинчика. Они меня за это окатят золотым дождем Кумранской долины, где, как известно, осадков выпадает один миллиметр в тысячу лет. А много ли мне потребуется в этой жизни? Финики и акриды – что еще нужно строителю сионизма! Я передумал быть богатым. Благотворный воздух этого святого места уже начинает оказывать на меня свое действие. Удивительный город!

– Все города – ни что иное, как черновики Иерусалима, – серьезно сказал Гавриэль. – Сколько есть на свете городов, столько есть и эскизов Иерусалима.

– Даже Рио-де-Жанейро?

– Все. Зато и в Иерусалиме нет ничего, практически ничего, на что можно положить глаз или указать пальцем. Он – и то, и это, а вернее – и не то, и не это, и еще десятки тысяч всякого. То есть, ничто. Сегодня он для меня не Париж, а завтра у нас обоих изменится настроение, подует ветер из пустыни, и он станет мне не Багдадом. Тот, кто его придумал, нарочно создал его как пустое место, которое мы наполняем тем, чем захотим. Здесь нет и не может быть подделок, ибо все оригиналы мира суть копии этого пустого места.

Гавриэль заказал для старшего брата турецкий кофе и английский кэк. Асаф прикрыл утомленные глаза и вытянул под столиком натруженные ноги будущего прокладчика иерихонской магистрали, уже обутые в библейские сандалии, но еще бледные, не покрытые мессианским загаром. Лучи заходящего солнца красили улицу Пророков цветом свежей верблюжьей мочи и забивались под веки. Бендер сделал последний глоток, слегка поперхнувшись гущей, и отверз вещие глазницы. Акушерский саквояж с бесценными шедеврами мировой литературы, еще минуту назад лежавший на соседнем стуле, бесследно исчез.

* * * * *

– Бендера я помню, – как-то невзначай сообщил один из пассажиров того исторического рейса, русский поэт Арсений Гольдберг, часто бывавший в моей мастерской (он неизменно именовал ее «ателье»), хотя подъем на второй этаж давался ему не без труда. (Сам он, впрочем, жил на третьем этаже, в том самом подъезде дома на бульваре Маймонида, где внизу располагалась контора киностудии Middle East Best Regards). – Был такой человек, вы знаете... И я его помню. Я с ним встречался. И на пароходе, и потом здесь, в Иерусалиме. Принято считать его придуманным персонажем. Как будто его придумал Илья Ильф. А Ильф и Петров... вы знаете – Евгений Петров, то есть, Евгений Петрович Ката-ев... они вместе писали... просто списали его с реального человека, который был их приятелем в Одессе, потом жил в Москве, а потом приехал сюда. Что с ним, в конце концов, стало, я не знаю. Но он пережил здесь какое-то, знаете ли, потрясение. У него, кажется, украли портфель с рукописями. В Иерусалиме. Там, в частности, была и записная книжка Ильфа. Ильи Ильфа. Он мне рассказывал. Вы знаете, что Илья Ильф вел записные книжки... часть их даже была издана после его смерти. И он побывал тогда в Палестине. Об этом не принято было говорить, но у него даже в советском издании случайно попадаются в записной книжке какие-то «тель-авивские журналисты» и еще что-то такое. Так вот, этот Бендер утверждал, что у него была целая записная книжка Ильи Ильфа с записями про Тель-Авив, про какой-то кибуц, про Иерусалим и про Мертвое море. В самом деле, жалко, что она пропала. Но у него сохранилась одна-единственная страничка. Он мне ее показывал, и я ее тогда даже переписал себе на память. Если вас интересует, может быть, для вашего журнала, я вам эту запись как-нибудь постараюсь найти. Вы спросите Дану, может ли она вас интересовать для журнала. Но это займет какое-то время. Я помню, что там есть такая запись: «Прямо посреди рынка Маханэ Иегуда – отель-люкс “Казино де Пари” с танцевальной площадкой на крыше, вымощенной алыми розами». Потом такая запись... я ее тоже дословно

помню: «Бедуины верят, что сушеное волчье мясо помогает от боли в голени». И еще что-то. Я вам обязательно найду эту страничку. Но это займет какое-то время...

Страничку эту Гольдберг, однако, так и не нашел. Но кто знает, может быть, когда-нибудь еще отыщутся все украденные у Бендера рукописи. Особенно забавно будет, если в итоге выяснится, что все они поддельные – одна сплошная липа, и записная книжка Ильфа, и Гоголь, и Марк Твен, и Толстой. Но не исключено, что все эти рукописи уже давно сгорели в чьей-то печке-буржуйке.

Когда преставился мой предшественник на посту маляра-декоратора в новосибирской опере, литературное его наследие, хранившееся в старом рассохшемся чемодане, обвязанном веревкой, вынесли вместе с прочим скудным его имуществом из комнатки в общежитии на помойку. Килограммов пять необщих школьных тетрадей, исписанных тайнописью. Автор, видите ли, был сумасшедшим, и расшифровать таинственные закорючки никому не удалось, ведь ни один знак в рукописях не повторялся дважды. Так всё его поэтическое наследие и осталось непрочитанным.

Кто-нибудь на всём божьем свете скорбит об этом? Но ведь не может быть, чтобы все эти писания, священные для кого-то хоть на краткий миг, просто так канули в небытие. Иногда мне кажется, что они отнюдь не тают в безвоздушном пространстве равнодушной безразмерной вселенной, но собираются здесь, между небом и землей. Я хочу сказать, между увесистым, вечно пребывающим в свободном падении небом и невесомой, почти нематериальной землей. Каким образом умещается здесь всё это пущенное на ветер богатство?

Подушная подать. Именная опись. Ревизская сказка. Сожженные «Похождения Чичикова в Иерусалиме». Господни игры в архивариуса и систематизатора. Сошедший с ума, а оттуда далее – в Аид – Каролус Линнеус, ведущий картотеку иерусалимских химер, каждой галлюцинации присваивающий двоичное латинское название. Например: *Salus populi, Ruine sacrum, Ars poetica, Alia tempora, Jus primogeniturae, Omnia mutantur, Nihil interit.*

Возможно, город, стоящий над бездной, не имеющий дна, подобно цилиндру фокусника, впитывает, всасывает в себя всё то, что приносит к пупу земли возвращающийся на свои круги ветер. Мельчайшие першинки былого величия – мириады всемирных историй и человеческих жизней – оседают на стенках его извилистых кровеносных сосудов, покрывают живую поверхность его экспериментальных срезов, выются в его непокойном воздухе. Господи, до чего же много пыли в Иерусалиме!

Читающие книгу сует найдут способ восстановить по этим геологическим отложениям эфемеру мирового дыхания. Соображение сие успокаивает, примиряет с путем всякой плоти смущенную душу, не способную принять идею полного и бесследного исчезновения.

Мне вспоминается первый опыт иерусалимского блефа, предпринятый по странному, ничем не спровоцированному наитию в девятом классе новосибирской средней школы №10. Учительница географии Анна Денисовна Жадина решила, что мы, сливки общества, собранные под литерой «А», не без удовольствия станем выступать перед всеми прочими учащимися с докладами о столицах различных зарубежных государств, сопровождаемыми демонстрацией какого ни на есть иллюстративного материала, доступного сибирским школьникам эпохи застойной разрядки. Началась запись – штатные Варшава, София и прочий Бухарест разошлись первыми, за ними последовали соблазнительные Париж, Рим и Лондон. Круг неумолимо сужался, а я продолжал сидеть неподвижно и бесстрастно, не вознося трепетной десницы.

– Зингер! – в голосе Анны Денисовны слышалось неподдельное недоумение. – Вы еще не вы-бра-ли сто-лицу?!!!

– Как же, выбрал, Анна Денисовна. Я, с вашего позволения, выбрал Иерусалим.

Мало того, что я не знал о Иерусалиме ровным счетом ничего и в жизни своей не видел ни одной картинки с изображением этого города, если не считать вольных измышлений средневековой и классической живописи, я, к тому же, до того момента был к нему совершенно

индифферентен. Его имя вылетело, как большая увесистая птица, вроде пингвина, вероятно, из чувства голого противоречия.

Но сказанного не воротишь – выбор был сделан, как выяснилось, на всю жизнь.

Реакция выдавшей виды заслуженной учительницы была смущенной:

– Э-э-э... Зингер... видите ли, Иерусалим, конечно, очень интересный город, но, видите ли, видите ли...

Вместо того, чтобы прямо заявить, что никакого Иерусалима не существует, как поступил бы на ее месте всякий, имея он хоть немного времени на моральную подготовку, Жадина тщетно пыталась найти какой-нибудь интеллигентный аргумент против – ведь о позволении не могло быть и речи. Но этот искомый интеллигентный аргумент никак, никак не находился. Я уже искренне жалел, что поставил достойную пожилую даму в столь тягостное положение.

– А Иерусалим – это столица чего? – подлила масла в огонь притворявшаяся наивной Ларочка Алиева.

– Израиля, дура! – резко шикнула на нее лучшая подруга Дехтерева (Брайловская).

Этот обмен репликами спас Анну Денисовну от уже нависавшего над нею призрака Ивана Денисовича.

– Видите ли, э-э-э, Зингер, – с трудом переводя дух, объяснила она не столько мне, сколько гораздо выше стоящим инстанциям, – в соответствии с решением ООН, столицей государства Израиль является Тель-Авив, а Иерусалим имеет особый э-э-э... международный статус. Видите ли, э-э-э... поскольку в этом цикле э-э-э... лекций речь идет именно о государственных столицах, Иерусалим – э-э-э... очень, конечно, интересный город, в данном случае, не подойдет, э-э-э... точно так же, как, например, э-э-э... Сидней или, скажем, Рио-де-Жанейро.

– А пусть он про Тель-Авив рассказывает! – нагло предложил Ткачук, которого явно не устраивала с таким трудом достигнутая разрядка напряженности.

Но про Тель-Авив я рассказывать отказался, твердо и однозначно. Я и сейчас не могу ничего вразумительного рассказать про Тель-Авив, кроме того, что это – возникшая на девятом году прошлого столетия не слишком остроумная пародия на Санкт-Петербург, со всеми неизменными атрибутами окна в Европу: с утлыми мшистыми берегами, с избами, в последние десятилетия посягнувшими на пятидесятиэтажное достоинство, с гостющими флагами, с пирами на просторе и с медным всадником Меиром Дизенгофом, отшель грозившим мировому шведу.

Иерусалим не выбирают, он наваливается на ничего не подозревающего субъекта сам, незванно-негаданно-непрощено, да так, что потом у застигнутого врасплох скорее отсохнет правая рука, чем изгладится из памяти этот внешне малоприметный населенный пункт. При этом, как показано выше, его вовсе не обязательно осязать, видеть или, тем более, любить. Можно, сидя на Диком Западе, вздрагивать с каждым глухим ударом его тяжелого сердца на Востоке. Можно вырисовывать готические башенки где-нибудь в Ломбардии или в Бургундии, утверждая, что это Иерусалим, и быть на волосок от правды. Можно складывать его из обломков плохо прожитых чужих жизней, не греша против истины. Протянул руку в произвольном направлении – и вот крупница Иерусалима уже в твоих цепких пальцах. Взять, например, популярную некогда песню «Горел, пылал пожар московский». Это о Иерусалиме или нет? Это о нашей древней столице или как? Там же однозначно сказано: «И на челе его высоко не отразилось ничего». Наши мудрецы, да будет их память благословенна, непременно сказали бы, что речь идет одновременно и о царе из плоти и крови, и о Царе Над Царями Царей. Если о царе из плоти и крови речь, то это Давид, помазанник Божий, сказавший о себе в бедствии: «Устроили ловушку мне, ищущие души моей... А я, как глухой – не слышу, и как немой, не открывающий рта своего. И стал я, как человек, который не слышит и в чьих устах нет резонанса». (*Те'иллим*, 38:13-15) Если же о Царе Над Царями Царей речь, то не о Нем ли сказал Давид: «Доколе,

Господи? Доколе скрывать будешь лицо Свое от меня?» (*Ibid.*, 13:2) И еще сказал он: «Лица твоего, Господи, искать буду. Не скрывай лицо Твое от меня!» (*Ibid.*, 27:9) Отсюда мы делаем вывод, что пожар московский – это разрушение Иерусалима. Замечу, кстати или некстати, что многие из мудрецов этих сидели в Вавилоне, в Земле Израиля никогда не бывали, но при том о Святом Граде судили с полным знанием дела.

А почему принято к каждому упоминанию о них прибавлять «память их для благословения (или для приветия)»? Не в том ли дело, что память их была столь зыбкой и непрочной, что нуждалась, не менее, чем наша нынешняя, склеротическим иерусалимским известняком одетая, в особом благословении? Или же вовсе была она с неким приветом, который передают они сквозь гущу темных веков, нам, своим рассеянными потомкам?

Впрочем, я вовсе не уверен, что все эти измышления на тему памяти, сколько бы они меня не занимали, очень волнуют моего воображаемого читателя. Я, возможно, по природной забывчивости еще вернусь к этой теме – уж очень она мне покоя не дает. Но нужно ведь и о ближнем подумать, а ближнему схоластические рассуждения не интересны, ему подавай увлекательный сюжет: о любви, о смерти, о деньгах.

И ведь как раз такой захватывающий сюжет, содержащий глубокую тайну и ее остроумное раскрытие, у меня под рукой. Особую пикантность всему происходящему придает то обстоятельство, что действие этого рассказа разворачивается непосредственно в моей мастерской, то есть, точнее сказать, в комнате, спустя семьдесят пять лет после описанных в нем событий сданной мне под мастерскую тем самым господином Бенином, который в этих событиях принимал непосредственное участие.

Неопубликованный рассказ Г.К.Честертона

Трудно себе представить погоду более отвратительную, чем та, что царила в Святом городе на протяжении всей рождественской недели. Пронизывающий сырой ветер и потоки дождя, сопровождаемые чудовищными раскатами грома и вспышками молний, которые следовали одна за другой с пунктуальностью адской машины, не давали разойтись по домам, несмотря на поздний час, компании, собравшейся в доме Бенина на улице Пророков. Половину этого большого дома напротив новой англиканской школы, в котором при турках располагалась резиденция паши, снимал начальник городской полиции полковник Энтони Хилл. В небольшой гостиной на втором этаже семь джентльменов и юная леди в трауре сидели, греясь громом, сигарами и неровным теплом арабской жаровни, установленной в середине комнаты. Кроме большой медной люстры на три дюжины свечей, свисавшей по центру высокого сводчатого потолка и как две капли воды похожей на висячих многоруких монстров сефардской синагоги в Лондоне, и большого, по крайней мере, в восемь футов высотой, зеркала? в гостиной не было ничего примечательного. Когда вспышка молнии выхватывала из темноты погруженный в абсолютный мрак город, в правое окно гостиной можно было разглядеть сад и черепичные крыши школы, расположенной на другой стороне улицы Пророков, а из левого окна открывался вид на застроенную рядом низкорослых уродливых домов Яффскую дорогу, на которую выводил обширный двор, некогда бывший великолепным садом, а ныне превращенный молодым Бенином в мощеную булыжником площадку для автомобилей. Эти нелепые металлические чудища, любимые чада хозяина дома, покупаемые со страстью безумного коллекционера в Германии, Франции и даже Америке, числом не менее дюжины, почивали тут же, в углу площадки под огромным брезентовым навесом.

– Не в обиду вам будь сказано, господин Бенин, вы, евреи, ничего не понимаете в садово-парковом деле, – скрипучим голосом произнес директор англиканской школы, преподобный Джереми Уилсон. – Такой сад загубить! Нужно иметь каменное сердце, сэр.

Молодой хозяин дома нервно хихикнул и поднял к потолку свои большие миндалевидные глаза. С тех пор, как скончался его отец, коммерсант из Адена, сделавший свое состояние на торговле слоновой костью, молодой Ханания-Жак сменил наследственную фамилию Селим на Бенин, в память обогатившей семью африканской страны, переехал в Иерусалим и усердно вкладывал все свое несметное богатство в покупку «Фордов» и «Студебеккеров». Запах бензина был ему во сто крат милее благоухания цитрусовых деревьев.

Юная Дженнифер вздрогнула. Одно упоминание евреев способно было довести ее до слез. Ее жених, лейтенант Томас Биллоу, исчез в канун рождества, а вчера, спустя три дня после исчезновения, его обезображенный труп был найден в колодце одного из домов-каре на противоположной стороне Яффской дороги, в каких-нибудь двух сотнях ярдов отсюда. Блестящий молодой офицер, вместе с армией генерала Алленби освобождавший Иерусалим, Биллоу заканчивал этой зимой службу в иерусалимском гарнизоне, и его невеста Дженнифер Перри вместе с отцом, сэром Тимоти Перри, баронетом, специально приехали в Святую Землю, мечтая совершить обряд венчания в церкви Сент-Джордж, и остановились в англиканской школе.

Старуха, жена портного, выйдя накануне утром набрать воды, обнаружила в поднятом из колодца ведре английскую военную фуражку. Полиции удалось извлечь тело лейтенанта Биллоу, и полицейский эксперт установил, что все раны нанесены большими ножницами, и ими же обезображено лицо. Расследование, проведенное самим полковником Энтони Хиллом, было кратким. Старик-портной Хаим-Берл Швальб немедленно показал, что сионист, поэт и безбожник Велвл Кунц (по прозвищу Вовка), снимавший угол в их доме и подписывавший свои возмутительные стихи псевдонимом Баал Га-Лаатут, недавно взял у него большие портновские ножницы для неизвестных целей. Кунца немедленно арестовали, и при обыске у него

были изъяты ножницы вместе с подстрекательскими стихами и чудовищными бунтарскими воззваниями на русском и древнееврейском языках. Он отпирался неистово и держал себя высокомерно, но его виновность не вызвала у полковника ни малейшего сомнения. Сегодня он сообщил сэру Тимоти и Дженнифер, что злодей-убийца лейтенанта схвачен.

Вся картина преступления также была совершенно ясна. Напав на молодого офицера, мятежник заколол его портновскими ножницами, а затем постарался тем же отвратительным орудием изуродовать до неузнаваемости его лицо, после чего утопил труп в дворовом колодце, надеясь на полную безнаказанность своего злодеяния.

– Сознайтесь, святой отец, что не таким рисовался вам в воображении Иерусалим в рождественскую неделю. Вы у себя в мирном сельском приходе, вероятно, воображали это место в виде эдакого безмятежного райского уголка, где все чинно, благопристойно, полно святости, и чистые возвышенные молитвы устремляются из человеческого сердца прямо к ясному звездному небу. Не правда ли, я угадал?

Сидевший прямо напротив зеркала толстенький католический священник, с круглым бесцветным лицом, к которому была обращена эта тирада начальника полиции, виновато заморгал белесыми ресницами и каким-то нудным, невыразительным голосом робко возразил:

– Помилуйте, вы, право же, слишком лестного мнения о наших сельских приходах, полковник. Иногда нам приходится сталкиваться с очень, о-очень страшными преступлениями. А что касается Святого Града, то у меня никогда не возникало сомнения, что здесь возможны злодейства, даже наиболее чудовищные злодейства.

– Да неужели? – изумился полковник Хилл.

– Вот именно, – продолжал нудить кругленький священник. – Описания некоторых из них, наиболее вопиющих, мне по роду службы постоянно приходится перечитывать в одной о-очень серьезной книге.

– В какой же книге, позвольте? – изумился полковник.

– В Библии, сэр, – кратко ответил священник, и глаза его на миг утратили свое обычное сонное выражение.

Мустафа Аль-Хаким, единственный мусульманин среди собравшихся, вежливо и сдержанно рассмеялся. Это был статный и благообразный араб лет пятидесяти с умным, но, пожалуй, чрезмерно точеным лицом, что придавало ему сходство с бронзовой статуей. После поражения турок этот человек стал главным помощником иерусалимского муфтия по контактам с британскими властями. Его великолепный кембриджский английский заставил бы покраснеть многих из современных наших лекторов.

– Увы, господи, – сказал он, – именно правительство Его Величества приняло решение способствовать затеям сионистов...

– Во всяком случае, любезный господин Аль-Хаким, в мои обязанности входит охрана всеобщего порядка в этом городе, вне зависимости от каких бы то ни было политических веяний, – прервал его полковник. – Злодейское убийство лейтенанта Биллоу потрясло нас всех. Какие решения примет правительство Его Величества – мне неизвестно и несколько меня не касается. Единственное, что я мог сделать – сделано. Убийца арестован. Дальнейшее следствие установит, идет ли речь о некоей преступной организации. Его же, безусловно, ждет виселица.

– В недобрый час ступили мы на эту землю! – в отчаянии воскликнул сэр Тимоти. – Прошу простить нас господи, но я чувствую, что Дженнифер давно пора отдохнуть. За эти дни она слишком много перенесла.

– В таком случае, я провожу вас, – откликнулся преподобный Джереми Уилсон. – Прослежу, чтобы Паркер устроил все как следует и, если увижу, что свет еще горит, вернусь к вам, полковник.

На некоторое время в гостиной воцарилась напряженная тишина. При вспышке молнии в правом окне осветились неестественно белым светом и снова погасли три фигуры, переходя-

щие на другую сторону улицы. Тоненькая в черном Дженнифер держала отца за руку, высокий тощий директор пытался прикрыть их большим зонтиком, рвавшимся на волю из его длинных рук.

– Бедняжка, – вздохнул полковник. – Как она держится!

До сих пор молчавший директор Первого Палестинского банка, мистер Уолтер Снаут зажег новую сигару и, выпустив первую струйку дыма, задумчиво произнес:

– Удивительное, все-таки, стечение обстоятельств – лейтенант погиб в день их прибытия! Даже не успел встретить свою невесту. Они не виделись два года...

– Лейтенант отправился в армию генерала Алленби сразу после помолвки, – подтвердил полковник Хилл. – Два года – за это время можно было бы совершенно забыть человека, если, конечно, сама любовь не сохраняет его образ свежим и не изменившимся. Увы, увы...

– Да, – вздохнул директор банка. – Все мы прекрасно знали лейтенанта. Это был высокообразованный и в высшей степени благородный молодой офицер.

– Прекрасный знаток современной техники, – с энтузиазмом вставил молодой Бенин.

– Он был одним из немногих, кто искренне интересовался нашей культурой и в совершенстве знал арабский язык, – добавил Мустафа Аль-Хаким. – Одним из немногих англичан, знавшим толк в таких сложных для постороннего вещах, как мусульманские орнаменты и арабская каллиграфия. К тому же он был нашим искренним другом. Следует быть твердыми в горе и не предаваться отчаянию. Слава Аллаху, что хотя бы непосредственный убийца находится в руках правосудия.

– Мне все время хотелось спросить вас, полковник Хилл, – раздался все такой же сонный, как и прежде голос католического патера. – Неужели вы и вправду хоть на секунду поверили в виновность этого несчастного поэта?

Все изумленно воззрились на говорившего.

– Бог с вами, отец Браун! – воскликнул полковник. – Да это дело, по-моему, ясное, как день. Все улики против него.

– Единственная улика, которая против него существует – это ножницы, – возразил священник. – Но улика эта вызывает большие сомнения. Попробуйте-ка объяснить, каким образом шупленький человечек менее пяти футов ростом умудрился убить портновскими ножницами боевого офицера армии Его Величества?

– Помилуйте, да ведь он же фанатик, – возразил полковник Хилл. – Вы его видели. А знаете, какого рода поэзией он занимается? Мне перевели все до последней строчки. Вот, извольте! – Полковник водрузил на нос очки, достал из папки, лежавшей тут же, несколько листков и каменным голосом прочел:

– «Англия – тюрьма!» «Один хищник проглотил другого!» Или вот, пожалуйста – «Все преходяще, сатрапы сгниют в земле, лишь ты, о мой народ, неистребим». Как вам это нравится? Или вот еще, Бог мой, ужас-то какой! «И будут короли няньками твоими, и королевы их – кормилицами твоими, лицом до земли кланяться станут тебе, и пыль твоих ног будут лизать!» Что это по-вашему, святой отец?

– Исайя, глава сорок девятая, – невозмутимо ответил отец Браун. – Не знаю, насколько хорошо вы изучили сионистов, дорогой полковник, но должен заметить, что поэтов и безбожников вы понимаете весьма поверхностно. Ваш Велвл Кунц примеряет на себя одеяние ветхозаветного пророка, он брызжет горячей серой и посылает страшные проклятия в минуты наивысшего вдохновения, но он, смею вас уверить, никогда никого не убьет. Неважно, талантлив он или бездарен, но он существует и действует в мире, весьма далеко от таких реальных вещей, как настоящая кровь или, скажем, настоящий труп, только что бывший настоящим живым человеком. Добавим к этому одну большую странность. Не правда ли, необъяснима логика убийцы, который приложив столько усилий, чтобы обезобразить труп и сделать его неузнаваемым, не только не снимает с него и не уничтожает его мундир, но и оставляет ему

фуражку – предмет, который вообще не пойдет на дно колодца, а будет плавать на поверхности воды, где его, скорее всего, сразу же подцепят ведром? В то же время ножницы, которые немедленно утонули бы, он преспокойно забирает с собой. Не кажется ли вам, что некоторая загадка в этом деле все-таки существует?

Полковник судорожно пытался ухватить суть сказанного.

– Вы полагаете, отец Браун, что убийца намеренно наводил нас на след, в то же время... позвольте, но ведь это абсолютно нелогично!

– Позвольте, господа, – взволнованно вмешался директор банка. – Я считаю необходимым в сложившейся ситуации сообщить об одном, скорее всего, новом для вас обстоятельстве. Я думаю, что вы будете несколько удивлены, узнав, что покойный... э-э-э... как бы это выразиться... играл. Да, господа, в отсутствие несчастной Дженнифер Перри и ее отца, я могу вам об этом сообщить. Считаю это своим печальным долгом, так как это, возможно, способно оказать какую-нибудь помощь расследованию...

– О чем вы, Снаут?! – вскричал изумленный полковник. – Какой бред!

– И однако, лейтенант действительно играл, и играл по-крупному.

– Но откуда, Снаут, у вас такие странные сведения?

– Дело в том, что покойный сам мне признался в этом. Трижды за последний месяц он обращался в наш банк с просьбой перевести крупные суммы денег во Французский Левантийский банк в Бейруте на имя некоего Уоллида Иммота. В последний раз я спросил его, помнится, какие драгоценности он приобретает на столь крупные суммы, на что лейтенант, смутившись, ответил, что он проиграл эти деньги. За месяц он потерял девять десятых своего состояния. Увы, господа, но это так... вот копии бланков, заполненных его рукой, полковник.

Мистер Снаут развернул извлеченные из кармана бумаги и протянул их полковнику. Полковник задержался на несколько секунд, привставая с кресла. Взгляд сидевшего между ними толстенького католического священника скользнул по листкам, метнулся к зеркалу, ожил на краткое мгновение и снова потух.

Полковник изумленно рассматривал копии бланков.

– Дьявол, что еще за Уоллид Иммот? Вам известен этот человек, Аль-Хаким?

Помощник муфтия спокойно склонил голову в знак согласия.

– Это достойнейший молодой коммерсант из Бейрута. Два дня назад он покинул Британскую Палестину, завершив все свои дела. Вы можете справиться в полицейском управлении в Яффо, в которое он, безусловно, обращался, покидая зону действия Британского мандата.

– Дьявол! – снова выругался полковник. – Почему вы столько времени ждали, Снаут?

– Видите ли, полковник, я дал лейтенанту Биллоу честное слово джентльмена, и считал своим долгом... Ведь обстоятельства убийства казались такими ясными. Но видя, что дело, кажется, обстоит несколько сложнее...

– Я вижу, что у вас есть своя версия, отец Браун, – заметил полковник Хилл, в упор глядя на сельского патера.

– Быть может, – вяло пробормотал тот. – Скорее всего, это лишь некоторые догадки.

Он, побряхтывая, встал и подошел к окну.

– Дождь совсем перестал, – заметил он. – Это кстати. Вы оказали бы нам неоценимую услугу, господин директор банка, если бы смогли безотлагательно доставить сюда копии всех квитанций вашего отделения за последний месяц. Господин Бенин, не могли бы вы, кстати, подвезти господина Снаута на автомобиле? Вы чрезвычайно любезны!

Отец Браун медленно прошелся по комнате и, услышав, как внизу хлопнула дверь, заговорил снова.

– А теперь, господа, пока мы здесь втроем, нам надо спешить. Не знаю, какие решения вы, полковник, примете. Мне ясно лишь одно – невиновный ни в коем случае не должен пострадать. Если это условие будет соблюдено, все остальное меня не касается, я готов устраниться.

– Вы что-то хотите сообщить, отец Браун? – напряженно спросил начальник полиции. – Вы хотите сказать, что вам известен настоящий убийца?

– Мне известно, что никакого убийцы вообще не существует, – ответил священник. – Поскольку лейтенант Биллоу жив-здоров и, вероятно, счастлив, если может быть счастлив вероотступник.

– Как вас понимать, сэр? – Мустафа Аль-Хаким впился глазами в маленькую круглую фигурку священника, готовый, кажется, испепелить его взглядом.

– Ваша беда, почтенный Аль-Хаким не в том, что вы помогаете человеку, пусть и не самому достойному, перейти в вашу веру. Ваша беда в том, что вы пользуетесь случаем, чтобы затеять опасную политическую интригу и оклеветать невинных людей, которых считаете своими врагами. И в этом администрация Его Величества, вероятно, вас не одобрит. Я почти уверен, что вам не удастся сохранить ваше нынешнее положение.

– Вы хотите сказать, святой отец, – воскликнул полковник, – что Томас Биллоу жив?

– Я хочу сказать, что Томми Биллоу стал Уоллидом Иммотом, достойнейшим ливанским коммерсантом мусульманского вероисповедания. Мне ничего не известно о человеке, чей изуродованный ножницами труп нарядили в мундир английского лейтенанта. Скорее всего, это был какой-нибудь умерший от голода бродяга или напившийся до смерти русский паломник, но на этот вопрос вам лучше ответит наш общий друг Аль-Хаким.

– Но позвольте, я все-таки многого не понимаю! – воскликнул полковник.

– Что ж, – заметил отец Браун. – Всё существенное в этом деле можно объяснить в нескольких словах. Молодой британский офицер, более всего склонный к изучению восточных орнаментов и арабской каллиграфии, давно уже тяготится обстоятельствами и обязательствами своей внешней жизни. Он находится под влиянием Востока, увлекается исламом, и его новые друзья всячески способствуют этому его увлечению. Все же, честь мундира не позволяет лейтенанту открыто перейти в ислам. В то же время, готовящийся приезд невесты, к которой он уже давно охладел, и предстоящее венчание подталкивают его к решительным действиям. Приготовлены документы на имя Уоллида Иммота, он постепенно переводит деньги в Бейрут и скрывается вслед за своими деньгами. Но человек, помогавший британскому лейтенанту стать ливанским купцом, не перестает действовать. Он находит подходящий по комплекции труп, а я уверен, что сам он никого не убивал, делает его неузнаваемым и, облачив в мундир исчезнувшего лейтенанта, подбрасывает его с таким расчетом, чтобы он был найден, признан трупом лейтенанта Биллоу и свидетельствовал бы против сиониста Велвла Кунца, и таким образом, против сионистов вообще. Я ни в чем не ошибся, почтенный Аль-Хаким?

Помощник муфтия с каменным лицом смотрел в окно.

– И все-таки, почему вам пришло в голову, что лейтенант Биллоу и этот... – полковник заглянул в банковский бланк, – Уоллид Иммот – одно и то же лицо?

– Окончательно убедило меня ваше зеркало, полковник, – ответил отец Браун, – случайный взгляд, упавший на отражение. Посмотрите, – священник поднес бланк к самому стеклу. – wollid ummot – это tommy billow в зеркальном отображении. У лейтенанта хватило ума для отвода глаз оставить на счету в Первом Палестинском банке какую-то небольшую часть своих денег, но увлечение орнаментами сыграло свою роль. Он не мог стать просто Али Ибн-Махмудом, для полного удовлетворения ему потребовалась оптическая игра... Но вот что, джентльмены: я все-таки считаю, что Дженнифер и сэру Тимоти вовсе ни к чему знать все это.

– Все это так, отец Браун, – задумчиво произнес полковник. – Я хотел бы решить возникшие проблемы наилучшим образом, но эта задача представляется мне весьма сложной. Ответьте мне лишь на один вопрос. Почему Велвл Кунц наотрез отказался объяснить, зачем ему понадобились ножницы? Ведь он не мог не понимать всей тяжести обвинений. Даже ногти он ими не стриг, сразу было видно, что ногти он обгрызает.

– Вы не обратили внимания на пять дюжин носовых платков, сэр, а ведь они указаны в протоколе обыска. Но поэт Баал Га-Лаатут не такой человек, чтобы даже под страхом смерти сознаться, что для того, чтобы заработать несколько грошей, он нанялся подрубать на дому носовые платочки. Должен вам заметить, полковник, что скоро, кажется, начнет светать, а бедняга до сих пор в тюрьме.

– Что ж, – заметил Мустафа Аль-Хаким, устало проводя ладонью по глазам. – Моя партия проиграна. Я имел несчастье встретиться с вами, сэр. Надеюсь, что мы, по крайней мере, сможем прочесть по такому случаю новый рассказ господина Честертона?

– В этом я сомневаюсь, – промолвил отец Браун, надписав коротким огрызком карандаша несколько слов на конверте с какими-то бумагами, который затем вложил в невзрачный саквояж темной кожи, после чего стал медленно погружаться в безмятежную дрему после тяжелой бессонной ночи. – Во всяком случае, в ближайшие лет восемьдесят этот рассказ вряд ли будет опубликован. Мистер Честертон, увы, не слишком жалуется евреям...

* * * * *

В последний раз я видел старика Бенина за несколько месяцев до его смерти. Мой квартирохозяин, которому тогда было лет под сто, продолжал жертвовать большие суммы на детские приюты, школы и Еврейский Университет, а также упрямо судиться с «презренным муниципалитетом», угрожая завещать свой земельный надел Палестинской Автономии. Он крайне редко выходил на улицу, совсем не посещал мастерские своих квартирантов-художников в «Доме Паши», но принимал их в своем офисе, то есть в норе, вырытой под автомобильной стоянкой, которая раскинулась между улицами Пророков и Яффо. Много лет назад Бенин начал строить там высотное здание, но был втянут городскими властями в бесконечную судебную тяжбу, и вверх его дом так и не вырос, навсегда оставшись необустроенной стройплощадкой, зато успел вращаться в землю двумя подвальными этажами. Для продления арендного договора я явился в его тесный бункер на минус втором этаже, на двери которого сияла новенькая латунная табличка «Ханания Селим. Строительство и развитие». Старожилы утверждали, что старик меняет табличку на двери ежегодно и что это единственное нововведение в жизни, которое он признает. Согбенный мультимиллионер в каракулевой папаше, штопаной безрукавке, черных атласных брюках и шлепанцах на босу ногу, опирающийся на резную трость из кости, открыл мне сам.

– Какая прекрасная работа, господин Бенин, – сказал я, указывая на трость. – Неужели это цельный бивень?

– Это единорог, он же рог нарвала, – ответил хозяин, почему-то тяжело вздохнув. – Позднее средневековье. Лангедок. Прошу садиться.

Тесный кабинет был завален пыльными картинами без рам.

– Раньше, – сказал старик, заметив, что я пытаюсь их рассмотреть со своего стула, – я иногда брал у художников картину вместо месячной платы за мастерскую, но теперь я уже этого не делаю... к вашему сожалению. Раньше я думал, что поощряю искусство, но теперь я в этом сомневаюсь. Теперь вообще всё уже не так, как прежде. С тех пор, как я упал, всё уже не так. Литература, искусство, театр... Всё это меня уже не интересует.

Бенин тяжело опустился в грязное бархатное кресло по другую сторону школьной парты старого образца, с откидной крышкой и, сверкая огромным изумрудом на безымянном пальце, начал листать амбарную книгу, которую достал из сильно потрепанного саквояжа темной кожи.

– Сто пятьдесят долларов в прошлом году, – пробормотал он с какой-то брезгливостью в голосе. – Это был ваш первый год. Гм... Значит теперь – сто шестьдесят восемь с половиной, но полтину я вам склонен простить, потому что нет греха худшего, чем мелочность. И не вздумайте платить им муниципальный налог! Эти нечестивцы могут слать свои оповещения до пришествия Помазанника.

– Господин Бенин, – спросил я, подписав договор на год вперед, – а вы не встречались с Гилбертом Кийтом Честертоном, когда он приезжал в Иерусалим в девятнадцатом году?

– Раньше, до того, как я упал, – ответил домохозяин, – я любил встречать много людей, всех и не упомнишь. А сегодня меня считают нелюдимом. Ха-ха! Ле мизантроп. Вы, конечно, читали Мольера. Русские – люди культуры. Я ездил каждый год во Францию. Ле буржуа жен-тийом! У меня в Париже есть дом на бульваре Себастополь, но теперь мне это не доставляет никакого удовольствия. До того, как я упал, я делал тур: фестиваль в Каннах, купания в Сен-Тропезе, ски в Гренобле и месяц в Париже. Но два года назад я упал, упал на этом самом дворе, благодаря заботам нечестивого муниципалитета превращенном в минное поле. С тех самых пор, как я тут упал, никакой речи о ски в Альпах уже быть не может. Ха-ха! Ле маляд имажинэр. А ехать за тридевять земель просто так, без ски, мне уже не доставит никакого удовольствия.

– Значит, вы не помните такого толстого добродушного англичанина в пенсне, который путешествовал по Палестине и, говорят, останавливался в соседнем доме, в гостинице Каменица?

– Сейчас я не очень-то помню и моих нынешних жильцов, не говоря уже о добродушных англичанах. Впрочем... – старик на несколько секунд задумался, почему-то прикрыв глаза ладонью, – точно, только на прошлой неделе снял у меня комнату в пристройке один англичанин, кажется из Австралии, но возможно, что из Южной Африки. Не могу назвать его толстым. Нет, отличительная особенность его – не толщина, а крашенные в яркий цвет волосы. Вы его, конечно, скоро встретите.

Господин Бенин-Салим тяжело поднялся с кресла и протянул мне маленькую, морщинистую смуглую руку с огромным изумрудом на безымянном пальце:

– А теперь, господин художник, не смею вас более отвлекать от искусства живописи.

Это были последние слова, которые я от него услышал. Бенин скончался пару месяцев спустя, не выходя более во двор, превращенный в минное поле.

Удивительное дело: через три года почти теми же словами простился со мной по телефону и Давид Шахар. Мы разговаривали перед его отъездом в Париж, откуда он вернулся уже неодушевленным телом.

– Мы обязательно встретимся, когда я вернусь через два месяца, – сказал он, – и я, наконец, увижу ваши картины. До встречи! А теперь я не хочу отвлекать вас от искусства живописи.

А ведь я только и делаю, что отвлекаюсь от искусства живописи. Вот и сейчас, вместо того, чтобы взять акриловые краски и кисточку свиной щетины, да уверенной десницей запечатлеть на туго натянутом холсте открывающийся из заросшего картофельной лозой окна вид на наш полуразрушенный квартал, я предаюсь элегическим воспоминаниям над компьютерной клавиатурой...

Тело Давида было доставлено в Иерусалим и, завернутое в талит, лежало на погребальных носилках перед Народным Домом, где собрались обломки светоносных иерусалимских сосудов, надтреснутые основания столпов, продолжающих, глухо скрипя и потрескивая, поддерживать своды рухнувшего храма. Шахар-младший говорил об отце, вспоминая, как аптекарь Янкеле Блюм из «Лета на улице Пророков» рассказывал о прочтенном некогда в маленькой книжке, (чье название и имя автора он, конечно, забыл): дух умершего всегда наводит ужас на живых, кроме тех случаев, когда умерший был в земной жизни особенно тобою любим. Да, да, только после смерти мы узнаем, действительно ли мы любили человека... А в моей голове прокручивалась, словно старая, полусасвеченная всепроникающим иерусалимским солнцем кинохроника, запечатлевшая дважды повторяющуюся в его романах сцену похорон девушки, у которой «был паук в углу потолка»: несение носилок с телом, полуденный зной, пыль, гудение псалма Давидова: «На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею».

О каком камне пел Давид? Не о том ли камне преткновения, который неизменно задерживает в этом месте, показавшемся праотцу нашему Иакову столь страшным, легкий бег безраз-

личного времени? Бежал праотец, скакал козликом из Беэр-Шевы в Харан, да вдруг запнулся о камень, остановился, задумался, не заметил, как солнце зашло. Пришлось взять из камней того места и положить себе изголовьем, чтобы спать и видеть сладкие сны о том, как спускаются и поднимаются по бесконечной лестнице ангелы небесные...

Боже, какой тяжелый сгусток иерусалимской блажи!

Множество различных камней сего каменистого места претендуют на то, что это про них сказано. Например, «Выдающийся Камень», иначе именуемый Аркой Робинзона. Эта загадочная, представляющая собой только основание обломанной арки и выпирающая из стены неподалеку от Мусорных ворот – не что иное как руина древнего моста, ведшего от горы Мориа к верхнему городу. Не по нему ли спускаются и поднимаются тихие ангелы, когда на миг смолкают наши жаркие и непримиримые споры?

На месте нынешней мечети Эль Акса некогда возвышался построенный Соломоном Дом Ливанского Леса. Как явствует из текста седьмой главы Первой Книги Царей, это сооружение, «длиною в сто локтей, шириною в пятьдесят локтей и высотой в тридцать локтей», было выстроено «на четырех рядах кедровых столбов и кедровые брусья на столбах», а отнюдь не из камней, в отличие, скажем, от царского жилья и дома государевой супруги, дочери Фараоновой, сложенных из «каменной дорогих, камней больших, камней в десять локтей и камней в восемь локтей». И использовался сей дом в качестве государева судилища. А впоследствии, в эпоху Иродова храма, на этом месте был построен из камня Мидраш Шломо, то есть, говоря попросту, Scuola Solomoni.

И вот рассказывают, что в этом доме учения сидели мудрецы и перекидывались хитроумными толкованиями Торы, пока не вспыхнул между ними спор по некоему животрепещущему вопросу. Встал один книжник и заявил: «Всё это суета и пастьба ветра, а закон-то должен быть принят по-моему! А если вы мне не верите, то пускай камни дома учения вам подтвердят!» Тут же сдвинулись с места камни в стене и чуть было не обрушились на головы наших умников. Один из этих камней, якобы, и есть тот самый Выдающийся Камень.

Согласно общепринятой версии, этот камень назван Аркой Робинзона, в честь обнаружившего его в 1838 году отца библейской географии и создателя палестинологии Эдварда Робинсона из штата Кентукки. Однако мне показалась не лишённой некоего романтического очарования версия, согласно которой это название имеет прямое отношение к Робинзону Крузо и его создателю.

Даниэль Дефо, как известно, в молодости непрестанно путешествовал, занимаясь рискованными торговыми операциями в разных частях земного шара. В середине восьмидесятых годов семнадцатого века он побывал и в Палестине. Первая книга «Робинзон Крузо», основанная на подлинной истории матроса Александра Селкирка, увидела свет в 1719 году, затем последовали продолжения, доведшие старика до самой матушки-Сибири, однако в Иерусалиме и окрестностях он не появлялся. Возникает естественный вопрос: почему писатель, который мог бы с успехом использовать столь редкие для своего времени подлинные впечатления от Святой Земли, не стал отправлять своего героя, постоянно рассуждающего о Провидении и ищущего Бога живого и сущего, непосредственно в удел оного? Неужели всё к тому шло, да не сошлось по каким-то хасидско-кафкианским законам жанра, подобно тому, как не состоялась задуманная и долго лелеявшееся Уинстоном Черчиллем Иерусалимская конференция в верхах, выродившаяся, в конце концов, в Ялтинскую?

Нет, оказывается, Робинзон Крузо всё-таки посетил Иерусалим, находившийся под османской пятой, и в нем снова встретился с некогда спасённым им из рабства Ксури, на сей раз обладавшим титулом бейлербей-паши третьей статьи, дающим право на ношение павлиньего пера в тюрбане. Бейлербей-паша водил своего старого друга и спасителя по Святому Граду, и тот с изумлением обнаруживал, что его топография удивительным образом соответствует топографии необитаемого острова, на котором он провел столько лет в праведных трудах, в

мыслях о Провидении и в священных войнах с силами косной стихии и языческого варварства. Его остров, как выяснилось, был сотворен по образу и подобию иерусалимскому, и важнейшие станции его собственного жизненного пути на этом глубоко символическом участке суши посреди безбрежного океана страстей, будучи нанесенными на карту, в точности соответствовали бы главным станциям крестного пути Спасителя. Не было предела глубочайшему благоговению и изумлению старого морехода перед сложностью и стройностью Господнего замысла, мельчайшая частица которого раскрылась перед ним в том месте, где сходятся лепестки таинственной Розы Мира, Розы Ветров. Робинзон целыми часами и днями просиживал на выступавшем из западной стены Соломонова храма основании давно рухнувшей арки, всматриваясь в расстилавшийся перед его взором суровый и полный еще не разгаданных тайн пейзаж, точно так же, как прежде проводил он часы и дни, глядя в безмолвную даль океана сквозь подзорную трубу надежды. Существует поверье, что там, на этом камне и застал его явившийся за его умудренной душой Ангел Смерти. С тех пор местные жители и прозвали этот камень камнем Робинзона.

(В иерусалимском телефонном справочнике сегодня имеются два Робинзона: Даниэль и Шалом (врач-психиатр) и двенадцать Робинсонов: Александр, Арик, Дов, Йоэль, Мики, Мервин, Рина, Сара, Това, Шарон, Шэлдон и Элиот. Впрочем, Робинзоны в иврите без огласовок имеют все шансы оказаться на поверку Рубинзонами.)

У себя в мастерской на улице Пророков я строил монумент памяти Робинзона Крузо, которому предстояло быть установленным на тель-авивской набережной – деревянное сооружение трехметровой высоты, на вершине которого были водружены: подзорная труба, направленная в сторону моря (заглянув в нее, легко было убедиться, что это калейдоскоп), зонт, покрытый пальмовыми листьями, и бамбуковая вешалка с клетками, в которых томятся нарисованные на фанерках райские птички, а также дощатый армейский ящик, полный бутылок, набитых эпистолами, предназначенными для забрасывания в безвидную и пустую стихию бытия. Мифология Острова и Робинзонады отсылала к израильскому мифу о Построении Национального Дома из обломков корабля старой еврейской культуры. Играя с языком, пардон, искусства, высмеивая его неуклюжую претензию на власть, дурача его, говоря на всех языках одновременно, постоянно варьируя их, я готовил, как мне тогда казалось, единственно возможное персональное послание из города, который пророк уподобил женщине, сидящей в скорбном уединении, предписанном законом о ритуальной нечистоте.

Несколькими годами раньше я написал пронизанный сионской романтикой текст, сопоставляющий роман Дэфо с «Островом Рено» Александра Грина, в котором беглый матрос Тарт, в противоположность стосковавшемуся по «человеческой» жизни Робинзону, предпочитает быть убитым, лишь бы не возвращаться на корабль из необитаемого рая. Тогда я еще не знал, что в какой-то определенный период жизни весь мир вокруг такого дезертира с корабля современности может переродиться в необитаемый или, по крайней мере, в неприкасаемый и непроходимый остров. Это происходит не вдруг. Постепенно скапливаются объективные причины и субъективные предпосылки, неизбежные внешние признаки отчуждения и не лишённые сладости моменты остранения. И вот ты уже не здесь, а где-то там, ходишь, не то ожившей куклой со стеклянными вставными глазами, не то этаким Соломенным Губертом за ручку с Анечкой-Невеличкой, не переставая удивляться произошедшему вокруг тебя перевороту. Как же это случилось? Никто не подливал тебе никакого одуряющего зелья, не заманивал в кроличью нору, даже Витезслав не звал тебя за собой...

(Когда-то давно я обдумывал роман, герой которого, после неопределенно долгого времени, проведенного в больнице, обнаруживает, что то место, где он оказался, выйдя за ворота, совершенно ему не знакомо. Звуки, запахи, дома, транспорт, движение городской жизни представляются ему явлениями другого мира. Он пытается вспомнить свой прежний мир – и не может, постепенно осознавая, что понятия не имеет, кто он сам, собственно, такой.)

И вот сидишь в центре Иерусалима, на необитаемом острове. Ты, слава всемилостивейшему Провидению, отнюдь не одинок: рядом с тобою Семь-Пятниц-на-Неделе, твои собаки, иной раз попугай случайный залетит. Но твердь, отделяющая тебя от внешнего мира, непробиваема.

И где бы ты ни оказался, ты повсюду будешь чувствовать себя вышедшим из больницы плони-бен-альмони, с первого взгляда узнающим неузнаваемое, видя перед собою то несбыточное место, которое ты сам называл Иерусалимом. Четыре с половиной десятилетия назад я вот так же вышел за ворота больницы на мокрый февральский снег незнакомого мне места. За руку меня держал назвавшийся моим папой человек в ушанке: длинный нос с горбинкой, кустистые брови, прикрытый левый глаз, улыбка на тонких губах. Мимо прополз тархтящий старым железом трамвай. Город именовался Новосибирском. Сегодня я почти уверен, что то был Иерусалим.

Случалось, что въездом в Иерусалим оборачивалось мое появление в совершенно новом для меня городе, название которого было указано во всех путеводителях. Я никогда не забуду, как поезд, медленно скольльзящий по воде, яко посуху, ввез меня в Венецию. Причал на станции Санта Лючия раскачивался под ногами, вапоретти подруливали, с сопением выползая из-под моста Дельи Скальци, моросил мелкий дождик, рваные тучи меняли освещение каждые полминуты таким образом, что облезлые палацци Санта Кроче со своей стороны Канала Гранде, с набережной Сан Симеон Пикколо, корчили Каннареджио смешные рожи. Всё это было словно на другой планете. Каких-то два века назад здесь проплывал Иоганн Вольфганг фон Гете, заказавший себе пение гондольеров. Один народный артист стоял на корме, другой на носу, и оба пели поочередно октавы из «Освобожденного Иерусалима», сочинения безумного Торквато Тассо. О таком же городском представлении вспоминал и несчастный Андрей Шенье: «У берегов, где Венеция царит над морем, ночной гондольер с возвращением Венеры легким веслом ударяет спокойную волну, воспеваает Рено, Танкреда и прекрасную Эрмению. Он любит свои песни, поет без желаний, без славы, без замыслов, не боясь будущего; он поет и, преисполненный бога, который тихо вдохновляет его, умеет, по крайней мере, увеселять свой путь над бездной. Как он, я нахожу удовольствие в пении без отклика, и неведомые стихи, которые мне нравятся обдумывать, смягчают мой жизненный путь, на котором мой парус преследуют столько бурь». Пушкин перевел это стихотворение довольно точно, лишь наградив Венецию эпитетом «златая» (в чем значительно опередил Наоми Шемер с ее «Золотым Иерусалимом»), добавив парусу впоследствии сильно навязшее в зубах определение «одинокий», а также безжалостно изгнав французского бога. Вот так, подумал я, глядя на облупленные сырые стены тонущего города, всего в несколько воображаемых скачков, и даже без помощи архангела Гавриэля, мы перенеслись из первого крестового похода в Одессу Пети, Павлика и Гаврика. Я тут же почувствовал себя дома, в Иерусалиме.

И точно так же, проходя под пронзительным соленым ветром по Галатскому мосту из Эминёну в Каракёй, глядя то налево, на свинцовые воды Золотого Рога, то направо, на сгустившийся в сером тумане Босфор, я остановился, чтобы разглядеть, много ли рыбы наловил заросший сизой щетиной турок в надвинутой на глаза кепке, закинувший в античные волны не одну, а целых четыре уды, и тут же поймал себя на ощущении, что нахожусь на мостике, ведущем от недостроенного центра Бегина на другую сторону Хевронской дороги, к Синематеке, а окружающие меня воды скрывают под своей толщей легендарный Гееном.

Вполне вероятно, что подобное ощущение испытал некогда и правдивейший из баронов, чей рассказ о посещении Святой Земли до сих пор оставался неизвестным широкому кругу читателей, пока я сам не извлек его на свет божий.

Путешествие Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена из Константинополя в Венецию, Иерусалим и обратно

Как всякому ныне ведомо из записей, сделанных по следам моих устных рассказов Генрихом Теодором Людвигом Шнорром, отправляясь из Константинополя с миссией от турецкого султана к королю Марокко и пролетая на своем страусе в окрестностях Туниса, я выронил в Средиземное море походный рундучок со всеми своими рукописями, документами, деньгами и подарками для короля, когда сия талантливая птица перевернулась в полете вверх ногами. Добравшись по доскам потерпевшего крушение корабля до Венеции, я был встречен с почестями и колоколами, которые пристали великому святому, прибывшему на крыльях гиппогрифа.

Немало поездив по свету и пережив незабываемые приключения в столицах и провинциях различных империй, я взял себе за правило в каждый город брать с собою нового Вергилия. Не сомневаюсь, что сей в высшей степени полезный и разумный обычай утвердится среди путешественников, и в будущие века всякий странствующий иностранец и в Санкт-Петербурге, и в Вене, и в Оттоманской Порте будет вооружен, кроме походной трости и верного пистолета, новеньким, только что из типографии, изданием великого латинянина в оригинале или же в переводе на один из современных языков.

Прогуливаясь по набережной Рио де ла Сенса в Каннареджио, я не выпускал из рук только что разрезанный томик. Меня не покидало ощущение волнующей близости долгожданного приключения. Тут взгляд мой упал на каменную фигуру восточного мужчины в огромном тюрбане, подобно мне державшего в правой руке раскрытую книгу. Каменный истукан тут же обратился ко мне на чистейшем древнееврейском языке, коего я, как всякому известно, являюсь редким знатоком:

– Сударь мой, вы, как я погляжу, человек в здешних краях новый, оттого и стоите, разиня рот, перед домом, в котором преставился старик Тинторетто. Будьте осторожны! Как бы не залетела вам в рот неумная душа его в образе мухи, осы или москита. Ежели такое случится, то сударь мой восплает непреодолимой страстью к малеванию и не успокоится, пока не пририсует усы и испанские бородки всем святым угодникам от Сан Марко до Сан Джорджио Маджоре.

Я полюбопытствовал, с кем имею честь разговаривать, и истукан, назвавшийся Шабтаем, поведал мне, что он один из четырех окаменевших евреев, которых невежественная венецианская публика прозвала братьями Мастелли с острова Джудекка и до сего дня считает греческими торговцами шелком, в двенадцатом веке за мошенничество обращенными в камень Святой Марией Магдалиной. Но всё, что рассказывают местные жители – суший бред и пустые небылицы.

Он сам вынужден проводить века в полном одиночестве, в то время как трое других торчат на фасаде за углом, на Кампо деи Мори. Особенно много поношений достается от горожан старшему, прозванному Синьором Антонио Риоба Безносым.

Настоящее же имя моего товарища по несчастью – Гамлиэль, – сообщил мне каменный Шабтай. – Что за нос был у него, пока эти бездельники и хулиганы его не отбили! Всем носам нос. Этим носом он подпирал балкон дома на противоположной стороне кампо, причем местные хозяйшкы развешивали на нем белье для просушки. Выслушайте же, сударь, нашу подлинную трагическую историю. Нас, четверых, избрал Господь и призвал с четырех сторон света принести воду в Святой Город Иерусалим, изнемогающий от засухи и жажды. Я нес воду из голубого Дуная, Гамлиэль – из золотого Рейна, Хуздизад – из красного Ганга, и Эвьятар – из

белого Нила. Но пребывая во мраке Средневековья, усугубленном бедственным положением многострадального народа нашего, не обученного пользованию географическими картами и путеводителями, мы, все четверо, забрели сюда и поспешно вылили все запасы бывшей при нас воды в Рио дела Сенса, воображая, что это Гай бин Хином. Ох, сударь, гнев Господень был страшен: Творец тут же обратил нас в камень, а перепуганные горожане, видя, что вода всё прибывает, заперли всех наших единоверцев в Гетто, где безжалостно держат их до сего дня. И вот, воды в Венеции делается с каждым днем всё больше, и она скоро совсем утонет, вроде русского Кидеша или балтийской Венеты, а Иерусалим всё высыхает и высыхает, того и гляди рассыплется, как горсть пепла. Единственное, что может спасти положение – немедленно прорыть в Святой Земле колодец из Иерусалима в Венецию и вычерпать ведрами всю лишнюю воду, оказавшуюся здесь по нашей роковой ошибке. Только такому бывалому человеку, как вы, барон, это под силу. Умоляю вас, немедленно и без колебаний взяться за это святое дело!

После сих слов каменный еврей больше уже не издавал ни звука, словно воды в рот набрал. Известный скульптор Горгони, которого я спрашивал об истории четырех каменных истуканов, не смог сообщить мне ничего вразумительного. Видя мое расстройство, он был так добр, что преподнес мне в дар точные копии собственного изготовления трех из этих фигур, которые по моей просьбе послал по почте в Боденвердер, причем почтовый сбор составил 301 рейхсталер, 24 гроша и 4 пфеннига. Каждый может увидеть их при входе в мой боскет, и кое-кто так удивлялся, что замирал, окаменев на четверть часа. На четвертую статую, а именно на фигуру Гамлиэля, не хватило камня во всей Венеции. Посему добрый скульптор выточил из дерева его уменьшенную копию в форме марионетки, хоть и уступавшей оригиналу в размере, зато располагавшую первозданным носом весьма неординарной длины. Отправляясь в Святую Землю, я прихватил ее с собой, но, к сожалению, вынужден был бросить на постоялом дворе у Яффских ворот.

Всеми миру известно, что, решившись на что-нибудь, я не откладываю дела в долгий ящик. Поэтому, запрягши своего страуса и вооружившись заступом и коловоротом, я немедленно вылетел в Иерусалим, каковой нашел воистину в плачевном состоянии. Проведя необходимые измерения, я обнаружил, что колодец лучше всего рыть у самой городской стены, выстроенной некогда Сулейманом Великолепным, и немедленно принялся за дело. В первый же день я так глубоко проник в недра Святой Земли, что венецианская вода забила фонтаном и, стекая в долину Геенны Огненной, стала заполнять овраг, впоследствии названный Султанским Прудом. Но тут, к несчастью, в дело вмешались дикие бедуины, испугавшиеся того, что мой колодец, превратив всё вокруг в цветущий сад, а не то и в море, навсегда лишит их пустыни – единственной природной субстанции, в которой они способны существовать со своими верблюдами и шатрами. Собравшиеся со всех концов своего дикого царства, от Аравии до Сахары, они тучами бросились на меня, безоружного, с громкими воплями потрясая копьями и кривыми саблями. Роя колодец, я складывал вынутые из недр камни в форме аккуратной башни, которая успела уже подняться высоко в небо. Теперь, ради спасения своей жизни, я взбежал на самую вершину этой башни, с ужасом и возмущением наблюдая оттуда, как эти вечно голодные дикари моментально разорвали на части и съели сырым моего бедного страуса, а затем стали один за другим прыгать головами вниз в колодец, чтобы прекратить бьющий с другой стороны Средиземного моря фонтан. Когда половина их войска оказалась внутри, эта чудовищная пробка перекрыла доступ живительной влаге, а оставшиеся в живых тысячи начали карабкаться на башню, чтобы разделаться со мною.

Как справедливо записано Готфридом Августом Бюргером, я веду свой род от графини Вирсавии, жены несчастного Урии-хеттианина, и унаследовал от сей достойнейшей дамы, председательницы Общества по изучению истории и близкой подруги израильского царя Давида, знаменитую пращу, посредством которой был сражен Голиаф. Постоянно имея сию пращу под рукой, я редко пускал ее в дело. Но тут, столкнувшись с проблемой, требовавшей

незамедлительного решения, я, ни на минуту не задумываясь, я обернул ее ремень вокруг пояса, зарядив самого себя так, словно был обычным полевым камнем, а затем раскрутил металлическое орудие своею мощной десницей и что есть силы метнул себя в направлении северо-северо-запада. К счастью, расчет мой оказался совершенно верен. Пролетев над Акрой, Алеппо и Смирной, я уже через несколько часов приземлился на берегу Золотого Рога в Константинополе, в виду Галатской башни, да так ловко, что бесценная праща осталась в моей правой руке. Раскланявшись перед собравшимися зеваками франкского, мусульманского и иудейского сословия, я отправился засвидетельствовать свое почтение моему другу султану.

Насколько мне известно, Венеция и поныне продолжает тонуть, а Иерусалим продолжает сохнуть. Султанский Пруд наполняется только в краткий период скупых зимних дождей. Наблюдавшие мой вылет иерусалимские евреи с тех пор называют мою башню именем царя Давида, вспоминая пращу своего глубоко почитаемого древнего пращура.

* * * * *

Потомок прославленного путешественника, барон Бёриес фон Мюнхгаузен, которого Теодор Герцль в свое время назвал «Байроном сионизма», в 1901 году передал эту рукопись доктору Мартину Буберу для опубликования в журнале «Ост унд Вест». Разрыв с сионистами произошел внезапно, причем виной тому послужил тот же художник-ориенталист Эфраим Мозес Лилиен, который вдохновил барона на первые его поэтические опыты в древнееврейском духе и иллюстрировал их в том же журнале. Фон Мюнхгаузен написал Буберу гневную записку:

Мой господин,

Я видел, какого «нового человека» собирается преподнести миру ваше движение и каким «духом древности» и «зовом Востока» оно ве́домо! Я ВИДЕЛ новую книжонку Лилиена. О да, это Восток! Клопный Восток Замшелой Европы! Всё то же убогое захолустье и жалкие жи́ды, снова выползшие на свет Божий из-за спин гордых библейских всадников! Вот что тащите вы за собою в вашу «новую жизнь»! И это после всех тех прекрасных снов, которые юные довречивые (sic!) души И это после всего того отважного буйства слов, после всех тех смелых полетов мечтты мысли, на которые ушли наши молодые силы и лучшие годы! Ваш ничтожный Иерусалим по-прежнему ютится на окраинах Варшавы.

Глаза мои открылись, дабы видеть. Довольно! Ни о каком дальнейшем сотрудничестве я и слушать не стану. Я оставляю ваше фарисейское движение и требую вернуть мне рукопись моего прапрадеда, о публикации которой в вашем издательстве не может быть и речи.

Прощайте навсегда!

Брон (sic!) Бёриес фон Мюнхгаузен.

Бубер, впрочем, не смог не только опубликовать рукопись, но даже вернуть ее возмущенному владельцу, поскольку – о поистине невероятное и постыдное для молодого профессора событие! – потерял ее вместе с несколькими малозначительными бумагами. Вероятнее всего, портфель свиной кожи, в котором находились эти бумаги, был украден уличным воришкой, в то время как господин профессор задремал, отдыхая на скамейке в Тиргартене. Так или иначе, ярости Мюнхгаузена не было границ, и его отношение к движению еврейского национального возрождения на Святой Земле, которое при иных обстоятельствах еще могло пережить новый подъем, сделалось поистине непримиримым. Он так и не забыл этого происшествия и по крайней мере дважды с неизменным негодованием упоминал о нем Эссад-Бею (Льву Абрамовичу

Нуссимбауму) и группе младороссов, с которыми познакомился в Берлине. В двадцатые годы барон примкнул к движению национал-социалистов. Весной сорок пятого он покончил счеты с жизнью, не в силах пережить падения Гитлера и унижения Германии.

Человек, который слышал эту историю в Позитано, на побережье Амальфи, от Эссад-Бея, умиравшего в тщетном ожидании заказа на написание биографии Муссолини, был правнуком римского архитектора Эрметте Пьеротти, известного тем, что в середине девятнадцатого века работал по приглашению Сурайа-паши в Иерусалиме и оставил весьма занимательные записки о местных нравах и быте. Юный Марио Пьеротти, сын венецианского инженера и стамбульской еврейки, был близок к дуче в те годы, когда тот еще гордился почетным креслом в почитательном совете Еврейского Университета в Иерусалиме, справа от Альберта Эйнштейна и слева от Жака Адамара. Позже их пути естественным образом разошлись. В последний раз он видел диктатора в Венеции в 1934 году, во время визита новоиспеченного немецкого канцлера. Улизнув в самый последний момент на Мальту, Пьеротти добрался до Иерусалима. Здесь я и познакомился с ним шестьдесят лет спустя, когда итальянское кафе-мороженое «Конус» ненадолго вернулось в Иерусалим после отсутствия, вызванного постоянными взрывами, распугавшими клиентов.

Собственно, я видел его в городе и раньше, а также был наслышан о нем от своего однофамильца, Менаше Зингера, переводчика «Сатанинских стихов» Рушди на эсперанто, симулировавшего внезапную смерть от остановки сердца, чтобы скрыться в Гондурасе под чужим именем. Летом 1994 года, во время футбольного чемпионата мира, когда «Конус» располагался еще на пяточке возле «Машбира», в том самом помещении, где ныне находится бухарская лавка «русских» продуктов, хозяева джелаттерии – Рути, Эти и папа Карло – вывесили перед входом огромный телевизионный экран, в нѳчи сражений итальянской сборной сбиравший вокруг себя толпу иерусалимских тиффози. Здесь, иногда за полночь, заходились в едином порыве и братались люди, которых ни в какой иной ситуации нельзя было свести вместе. Пара пейсатых толстяков в полосатых халатах и белых носках после удачно ликвидированного голубой защитой рейда вражьих форвардов с восторженными воплями кидалась в широченные объятия полуголой крашеной блондинки двухметрового роста, а лысый профессор в пиджачной тройке радостно молотил бутылкой кока-колы по тощей спине прыщавого школьника. Был там и седобородый Марио в неизменном берете и блузе оперного Каварадосси.

Когда двенадцать лет спустя, стоя у входа в «Биньян Клаль» с улицы Царя Агриппы, я увидел за столиком нового «Конуса» Марио Пьеротти, то решил, что надо войти и, наконец, представиться. Пока сонный эфиопский охранник вяло рылся в моей сумке, я взглянул в другую сторону. Иерусалим оплывал и таял от жары, воздух над асфальтом дрожал в мареве тяжелого хамсина, и в его неверном белесом мерцании медленно проплывшая мимо черная Тойота показалась мне гондолой. Пьеротти любезно пригласил меня присесть за его столик, и мы разговорились. Помянув Нуссимбаума, Муссолини и своего прадеда Эрметте, он заговорил о своей кукольной пьеске, в сорок четвертом году поставленной любителями в помещении бывшей итальянской больницы. Ища тему для антигитлеровского агитационного скетча, он вспомнил о венецианской встрече в верхах и о прозвище «Пульчинелла», которым Муссолини наградил тевтонского гостя. Это подсказало ему ход навстречу гоцциевой комедии масок, а хранившаяся в семье старинная деревянная кукла венецианской работы, как ни странно, привезенная прадедом из Иерусалима, навела на мысль представить сценку с марионетками. Старинная кукла представляла Панталоне – хранителя венецианской традиции. Остальные персонажи были выполнены студентами академии «Бецалель».

Я поведал старику Пьеротти о своей страсти к собиранию малоизвестных текстов и сомнительных рукописей, и при следующей встрече он любезно передал мне машинописную рукопись своего фарса, вольный перевод которого я привожу ниже:

Куда ни глянь, кругом Иерусалим

Декорация представляет Пьяцетту в Венеции с коллонадой Палаццо Дукале.

Тарталья (*вытирая лоб платком*): Проклятая жара! Венеция несносна!

Бригелла: И всюду немцы-педерасты...

Тарталья: Томас Манн!

Упадок, увядание культуры.

Да, прав, конечно, радикальный Маринетти —

Разрушить, утопить ее в лагуне,

Отдать к чертям хорватам-недотепам.

Мне хочется скорей вернуться в Рим.

Бригелла напоминает Тарталье о том, как накануне Венеция рукоплескала ему, когда он в своем великолепном мундире, со свойственной ему великолепной выправкой, в великолепной шапочке с пером, при виде которой на глаза каждого итальянца накатывают слезы, вышел на балкон. И каким униженным и жалким выглядел рядом с ним этот выскочка-канцлер в коричневом пальто, застегнутом на все пуговицы.

Тарталья: О, этот Пульчинелла деи Тадески!

Смесь раболепства с наглостью! (*кривляясь*) «Учитель!

В главе возмой моей бессмертной книги...»

Майн Карпфен! Рыбьим жиром истекает

В своем пальто. Бессмысленный паяц!

А эти водянистые глазенки!

А усики! А челка! Пульчинелла!

Бригелла: На вилле в Стра вы провели с ним вечер...

Тарталья: О, это было сущей пыткой ада!

Он мне цитировал без умолку себя.

А ночью этот гнусный бред немецкий

Тысячекратно был умножен комарами,

И в липком жаре загородной виллы

Они всё ныли и пищали, так что я

Глаз не сомкнул ни на минуту, право.

Уж полночь ко мне пришел Буонопарте,

Тяжелым задом на кровать уселся

И молвил непреклонно и сурово:

«Нельзя пускать в Европу обормота.

Ты Австрию обязан защитить».

Бригелла сообщает, что иностранный гость вскорости должен закончить осмотр коллекции картин во Дворце Дожей и присоединиться к Наследнику Цезарей у коллонады. А вот и он сам!

Появляется Пульчинелла с томиком «Камней Венеции» Рескина в фишеровском карманном издании для немецких туристов. Бригелла удаляется, почтительно кланяясь.

Пульчинелла: Майн штарший друг! Учитель! Вот и ви!

Как много мне искусства в этот горотт!
Вот это книга ошень помогайт.

Похлопывает ладонью по обложке перед носом у Тар-талья. Тот, уверенный, что этот томик – не что иное как давешний «Майн Кампф», гадливо отшатывается.

Тарталья (в сторону): Маньяк! Каррикатурра! Бур-ратино!

Пульчинелла: Я осмотреть хотель би коллонаду —
О ней так много аутор написаль... (листает книжку)
Вот тутт, вот тутт! Вот тутт в музеумфюрер...

Тарталья (в сторону): Лунатик! Дзанни! Графоман пустой!

Сейчас опять затянет он волынку
О превосходстве тупорылой расы...

(резко поворачиваясь к Пульчинелле, с вызовом)

Я львицу вырастил! Италией назвал!

Пульчинелла, коверкая слова, рассуждает о том, что подлинно арийскому духу пристало черпать вдохновение не в носатых и бородатых старцах и не в дегенеративных еврейках с вырожденными младенцами, но в мужественных образчиках героической античности.

Што это здесь? Так много винограда!
Как путто разливается райнвайн!

Заглядывает в книжку. Тарталья исполняет лацци без слов, будто ему в правое ухо влетел комар, и теперь он с правой стороны ничего не слышит.

Пульчинелла (читает): Как это всегда характерно для ранней скульптур, фигури знашительно уступают растительным мотивам... так, так... первой половине шестнадцатого века... так, так... не возникает вопроза о том, што голова швятоффо Зимеона... так, так... то ше изобилие штрующихся волоз и борода, но виполненних в мельких и крутих завитках, и вени на руках и на груди ошершени резше, скульптор бил явно изошренней в изяшних линиях листви и веток, шем в фигуре, ввиду шего, што везма примешательно для раннего майстера, он потерпел фиазко в попытке своего рассказа, ибо зожалением и изумленьем штоль равно отмечени черти всех триох праттьев, што невозможно определить, ко-тори из них Хам!!!

Читая, Пульчинелла все более и более навинчивается таким образом, что к концу заключительной фразы он совершенно выходит из себя и последнее слово выкрикивает со страшным надрывом, на пределе громкости. Тарталья, в этот момент повернувшийся к нему левым боком, подпрыгивает на месте и зажимает левое ухо.

Тарталья: Ах, я оглох! Зачем так волноваться?

Мой бедный друг, на вас же нет лица!

(в сторону): Свихнулся... «Хам!» От хама это слышу!

(Пульчинелле): Теперь, увы, я глух на оба уха

И вам ничем помочь уже не в силах.

Теперь напрасны все ваши старанья —

Я ничего расслышать не смогу.

(в сторону): Быть может, наконец-то он уймется.

Лаци без слов: Пульчинелла и Тарталья двигаются вдоль колоннады. Пульчинелла беззвучно шевелит губами и яростно жестикулирует, словно продолжает вслух читать по книге, таким образом, как если бы ему отключили звук. Заметно, что он всё более и более теряет самообладание.

Тарталья: Вот так-то лучше. Без еврейского вопроса,
Без расовых теорий, без претензий
Дурацких, будто мы им портим климат,
В то время как безумный Пульчинелла
Мне самолично портит воздух без конца! (*Зажимает нос*)

Доходят до угла Пьяцетты и останавливаются возле крайней колонны.

Пульчинелла (словно ему внезапно на полуслове включили звук):

...гури Адама с Эфой по обеим сторонам фигового дерева зковани более, нешели фигури Ноя и его зиновей, но лютше подходят тля звоихь архитектурних целей, и штволь дерева з телом обвившего его змея... Што есть это?! Куда йа попаль?! Это есть Венедиг или што есть это? Это есть Сан Марко или это есть Гетто?!

Тарталья попеременно зажимает то уши, то ноздри, то глаза, то рот.

Пульчинелла (весь трясясь, пытается читать по книге, которая скачет у него в руках): Ренессансни скульптор, аутор фигур «Золомонова суда»... (*топает ногами*) Скашите мне, где есть я! Што это за горотт!! Это есть Венедиг или... Фига... Архангель... Рафаэль! Михаэль!! Габриэль!!!

Тарталья, принимая позы различных скульптур и пристраиваясь к колоннам, постепенно удаляется, под конец показывая Пульчинелле фигу. К набережной причаливает гондола, управляемая стариком Панталоне.

Пульчинелла (кричит, сложив руки рупором): Откуда ви, старикь носатий?

Панталоне (делая то же самое): Я с Джудекки!

Пульчинелла: Как? Как?

Панталоне: С Джу-дек-ки! С острова Джу-дек-ки!

Пульчинелла: Што? Што?

Панталоне (в сторону): Вот чудак-то! Джудекки не знает, как будто на другой стороне канала не бывал никогда. (*кричит*) Джу!

Пульчинелла: Джу?

Панталоне: Так точно, сударь, Джу!

Пульчинелла: Довольно! Наважденье! Прекратить!

Взгляд его падает на колонны Св. Марка и Св. Теодора, расположенные между ним и набережной.

Пульчинелла: А это што есть? Боаз! Йахин! Колонны золомонового храма! Йерузалем! Меня коварно заманили. Прочь! Прочь! Бежать отзюда! Лодку! Пароход!

Пробегает между колоннами, прыгает в гондолу, вытолкнув оттуда Панталоне и вырвав у него шест, резко отталкивается от берега и валится в оркестровую яму.

Панталоне: Увы несчастному!
Он, видно, не из местных,
Что как безумный между двух колонн,
Своею силой мрачною известных
Венецианцам с давних тех времён,
Когда казнили здесь преступников бесчестных,
Поправших человеческий закон,
Промчался, взор свой обратив к каналу
(Точнее скажем, к зрительному залу).

Поверье древнее знакомо нам с пелёнок
О двух столпах, стоящих пред дворцом,
И никогда ни взрослый, ни ребёнок
Меж ними не пройдёт, оборотясь лицом
К воде, ни спяну, ни спросонок,
Ни чтоб прослыть отважным молодцом.
С вершин их только Лев и Теодор
К Джудекке славной устремили взор.

Из Византии, ослабевшей в вере,
Их привезли тому лет восемьсот,
И инженер Никколо Баратьери
(Что мост Риальто строил, да не тот,
Который всем известен в полной мере
И так похож на марципанный торт,
А первый, что огонь давно спалил)
На набережной здесь установил.

За службу добрую Республике и граду
Сей гражданина верный эталон,
Тот Баратьери получил в награду
Права на стол игорный меж колонн
(За коим сотню раз поставив кряду
Кто два дуката, кто – и миллион,
И состояний, и наследств лишались,
А после с горя с жизнью прощались).
Поздней, как сказано, при всём честном народе,

Меж двух столпов чинились казни здесь
(Когда Гольдони с Кьяри были в моде).
Что ж, для приметы, право, повод есть:
Кончает плохо тот, кто тут проходит —
Вчера был молодцом, а завтра вышел весь.
За сим прощайте, дамы, господа!
Что наша жизнь? Вода, вода, вода...

* * * * *

Вместе с копией своего написанного на иврите скетча Пьеротти передал мне машинописный оригинал французского письма. Увидев имена автора и адресата, я был потрясен и спросил, не следует ли передать письмо в Еврейский Университет, но старик только усмехнулся и пренебрежительно махнул рукой.

*Г-ну Итамару Бен-Ави, Нахалат Шив'а, Иерусалим.
10 мая 1923 г.*

Дорогой друг,

Надеюсь, Вы позволите Вас так называть и со свойственным Вам великодушием простите мне несовершенство моего французского языка.

Сегодня, накануне переезда в Анкару, я снова и снова возвращаюсь к нашему последнему разговору весной в гостинице Каменница. Моя оттоманская униформа, квартал Нашишиби, самая безумная и бессмысленная война на свете – как все это далеко! Но наши с Вами беседы, во многом определившие мой путь и судьбу моего народа, по-прежнему свежи в моей памяти.

~~Когда латинский алфавит, единый для просвещенных народов всего мира, наконец (зачеркнуто)~~

Теодор Ферцль (стерто, но буквы вполне отчетливо впечатались в бумагу)

Когда англичане уйдут, оставив страну вам, сделайте столицей Тель Авив. Новое надо начинать на новом месте. Иерусалим не примет латинский шрифт первым, как не принял бы его гордящийся своим космополитическим прошлым Константинополь. Ирония истории – большие всего цепляются за инертную традицию города, никогда не бывшие едиными. Я давно уже чувствовал, что Истамбул утонет, словно водами Босфора захлебнувшись своим великим историческим прошлым, если не отдохнет от него хорошенько, проветрившись как следует на свежем европейском сквозняке.

Последнее впечатление, которое я возьму с собой отсюда, весьма забавного свойства. Оно навело меня на мысль, которая, как мне кажется, может показаться Вам любопытной. Есть прогресс и есть, однако, явления и образы, которые коцуют с места на место и из века в век почти неизменными. Вчера я смотрел представление старого театра Карагеца в Фенере. С живым удовольствием наблюдая за проделками этого носатого человечка, я вдруг понял, что это наш общий предок, появляющийся во всех землях и среди всех народов под именами Карагеорги, Панча, Пульчинеллы-Полишинеля, Каспара и многих других (я, увы, не большой знаток этнографии, но чутье и логика подсказывают мне, что он распространен повсюду). Это – вечный жид, неунывающий и дразнящий судьбу. В Салониках, когда я был мальчишкой лет пяти, я увидел его однажды поднимающимся со стороны моря по крутому подъему улицы. Мой дедушка, который шел рядом, держа меня за руку, страшно разволновался – на какой-то миг он принял его за самого Спасителя Шабтая Цви, снова явившегося в мир. Старые люди постоянно начеку в ожидании перемен.

Жив ли еще Иегуда Проспер Луриа, бывший консул испанского королевства? Если Вы его встретите, передайте сердечный привет от капрала, ставшего консулом бывшей империи.

Надеюсь, британский цензор пропустит к Вам это письмо.

Прошу Вас, сэр, не чините препятствий беседе двух старых друзей! (фраза написана по-английски)

Искренне Ваши Мустафа Кемаль.

* * * * *

В те годы, когда мне рисовался образ человека, вышедшего из больницы и потерявшего представление о времени и месте, а также о собственном имени, титуле, семейном положении и социальном статусе, он являлся мне носатым существом, связанным с миром кукол, путешественником, постоянно пребывающим в неладах с бумагами и документами, теряющим подорожную, путевые записки (в которых он выказал столько недюжинного таланта!), пачпорт, рекомендательные письма и всё прочее. Нос его при этом не имел ничего общего с учительской указкой Пиноккио и с фаллическим бильярдным кием Буратино, но тяготел к иронично-двусмысленному клюву капитана Панталоне или фатальному – Дотторе. При этом фигура жертвы амнезии накладывалась на образ мудрого проводника-затейника, ненавязчиво заставляющего душу, сошедшую в мир иной, заблудиться и затеряться в его непростой топографии и топонимике.

Я жил тогда в Ленинграде, на углу проспекта Юрия Гагарина и Бассейной улицы, о которой навигаторам и землепроходцам известно следующее:

Бассейная улица – проходит в Московском районе Санкт-Петербурга от Кубинской улицы до Витебского проспекта. Начало застройки улицы, как и всего близлежащего района относится к 50-м годам XX века. Название улица получила 14 июля 1954 года по планируемому Южному Обводному каналу (бассейну). Канал должен был проходить от Невы, южнее Володарского моста до Финского залива у Морского торгового порта, а новая улица прокладывалась в направлении будущего канала. До 1918 года в Петербурге-Петрограде Бассейной улицей была другая – нынешняя улица Некрасова. Именно на ней жил «человек рассеянный» из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Вот какой рассеянный» (1928).

Общественный транспорт: Автобус социальный, № 63, 72. Троллейбус № 24, 26.

Достопримечательности: На углу с Московским проспектом находится так называемый «Генеральский дом» – башня со шпилем – памятник архитектуры (вновь выявленный объект) (д. 41/190). Здание планировали построить в 1940-1941 годах по проекту архитекторов Б. Р. Рубаненко, Г. А. Симонова, О. И. Гурьева, С. В. Васильковского и Л. М. Хидекеля и до войны был завершен основной корпус со стороны Московского проспекта. Башня на углу Бассейной была построена уже после войны. На Московском проспекте, напротив парка Победы у Бассейной улицы, в 1998 году было построено новое здание Российской национальной (бывшей Публичной) библиотеки. В нём разместились студенческие залы. Вход в здание украшен скульптурами «Правосудие», «Религия», «Театр», «Архитектура», «Механика», «Медицина», «Воздухоплавание», «Виноделие», «Философия», «Музыка», выполненными скульпторами Б. А. Свининым и А. Мурзиным (учеником Свинина).

Читатель, несомненно, обратил внимание не только на сходство аллегорий Свинина и Мурзина с фигурами дворца Дожей, а башни «Генеральского дома» с башней Давида, но и на множественность географических топонимов этого района, способных сбить с толку даже бывалого странника. А тут еще и Лев Маркович Хидекель, словно спустившийся по водам одноименной реки непосредственно из райского сада.

Под сценой, обставленной этими величественными декорациями, за шахтой театрального люка, ведущего в хтонический мир посторонних, которым вход запрещен, происходило действие тогда же написанной мною экстраваганцы.

Дерматиновый портфель (Хроника 1984 года)

– Абвгдежзикл... мнопрсту... фхцч?

Так всё это начиналось. Я стоял в дверях, а начальница в зеленой вязаной шапочке сидела за столом, на котором громоздились антарктические кипы деловых бумаг, бурые картонные картотеки, скрепки, бутылочки с клеем, написанная на обрывке чего-то серого объяснительная записка сантехника Мысленного, начинавшаяся словами «Бывши выпивши и не закусивши», и большой черный телефон.

– Шщыэюя.

Да, всё началось с этой комнаты, из которой я вышел мусоропроводчиком.

Я стал ходить с цинковым бачком на веревке, закинутым за спину. Мои владения начинались внизу, в подвалах, ниже уровня грунтовых вод. Спускаясь по ступеням в темноту и шаря по стене в поисках выключателя, я каждый раз ждал сюрпризов. Нельзя сказать, чтобы в моих владениях находились какие-то особенные красоты – висячие сады Семирадского или панорама Золотого Рога.

Но были серые стены, низкий потолок и теплые трубы, иногда певшие басом непопулярные песни. И я любил этот подземный мир, как любит свое захудалое королевство какой-нибудь маленький абсолютный монарх. Я всегда знал с чего начать – надо было закурить папиросу, снять с плеча бачок, взять стоявшую в углу лопату и приниматься за кучу мусора, собравшуюся за сутки. Мусор сыпался из трубы в стене, и так уж получалось, что всё то, что жильцы дома номер 2 считали ненужным и лишним в своей жизни, рано или поздно оказывалось здесь. Если мусор не сыпался, то мне следовало произнести волшебные слова: «Ах ты, казенная-все-народная, чтоб тебя на пленуме заклеямили!», взять какую-нибудь палку или кусок толстой проволоки и ворошить в трубе, «пробивать пробку». Если это не поможет, значит, на полуденной поверке в ЖЭКе мне скажут:

– Уфхцч, товарищ! Эюя!

Я так и не научился понимать мудреный язык начальницы, но не сомневался, что меня порицают за интеллигентскую мягкотелость. Дворничихи рассказывали мне, жалеючи, что прежде на моем месте служил некто Иван. И у того легендарного Ивана был такой крюк, что до пятого этажа доставал, так эту шахту копошил-дрючил, что любо-дорого.

В то утро кучи мусора на полу не было. Я сказал волшебные слова и полез в трубу рукояткой лопаты. Посыпались мокрые слежавшиеся бумажки, тряпки, гнилые луковицы.

– Мадонна Смеральдина! – раздался вдруг голос, который мог бы принадлежать деревянной улитке, потревоженной в скитаниях по сонным лабиринтам собственного подсознания.

Я вздрогнул, поняв, что деревянный голос доносится из мусорной трубы.

– Ну, тащи, тащи же! – снова раздался голос. – Только ради святого Панталоне не оторви мне голову!

Я еще немного пошуровал – и он упал, запутавшись руками и левой ногой в рваном капроновом чулке. Следом вывалился изрядно траченный временем дерматиновый портфель. Я помог незнакомцу выпутаться.

– Грация, грация! – он жадно ловил растянутым в саркастическую улыбку ртом горячий от труб воздух подвала.

Он действительно был деревянный, ростом чуть повыше моего колена. Легкая небрежность в одежде – одна штанина зеленая, другая же оторвана – подчеркивала сквозившую во всем его облике артистичность натуры. Длинный благородный нос с горбинкой и совершенно живые, хоть и полустершиеся, глаза свидетельствовали о некогда яркой индивидуальности.

– В Италии, – заявил он, сделав рукой театральный жест, не указывавший направления, но лишь подчеркивающий безнадежную удаленность предмета, – в Италии я знал лучшие времена. Видишь эти штукенции на моих руках и ногах? О, я знал лучшие времена! Но эти дуболомы, разбирающиеся в комедии, как каламари в мадригалах... Тра-та-та! Но я, кажется, забыл что-то, что полагается в подобных случаях? Ну конечно! Меня зовут Эрметте Пьеротти! Слышал? О, я знал лучшие времена! Брызги конфетти! Звон бокалов! Пудра! Запах пота!

Кордебалет! Дрын-дзынь! Оркестр – вдребезги... и пу-у-ублика, пу-у-ублика – в экстазе!!!

Беребенте-дереденте! Трулляля-та-та, та-та!
Сорок восемь диссидентов тянут дохлого кота!
Бодр и весел ваш Пьеротти, у него такой каприз.
Вы второго не найдете...
вы второго не найдете...

Черт, забыл рифму! Ну не стриптиз же, честное слово...

Он мрачно, насколько позволяла неизбежная улыбка, уставился на меня:

– А где же аплодисменты? Впрочем, чего там... Это так, нотабене, чушь, анданте модерато. Иногда забывается всё, до последнего романа. А этот мусор... сам-то ты хоть что-нибудь помнишь? Ты ведь был толстым ребенком?

– Разве это теперь заметно?

– Еще бы, —кивнул он. – Еще бы! Меня не проведешь. Когда-то я показывал чудеса гипноза, и сцена была усеяна спящими и храпящими. Весь мир есть сон, и люди в нем храпят, как говорила одна моя знакомая. Я читал мысли на расстоянии. Ничего интересного. Теперь, если не ошибаюсь, я оказался на дне жизни.

– Куда ты теперь? – спросил я неосторожно. – Сейчас зима, люди разлюбили комические куплеты, не хотят, чтобы их дурачили. Куда же ты?

– Попробую пока жить здесь, – мрачно ответил Пьеротти. – Дотяну до весны, собираю разные незаменимые в дороге мелочи вот из этого мусора и потопаю за кордон. Да, непременно уйду в Италию.

В то утро мне надо было обойти четыре подвала. Водянистая снежная каша чавкала под ногами, будто упиваясь моими резиновыми скороходовскими сапогами.

– Не чавкай, – сказал я, думая совсем о другом. – Чавкать некрасиво, особенно в январе.

У помойки я снова увидел ее и сделал сердитое лицо. – Ты опять роешься на свалке? – (помойка – слишком грубое слово) – Мама опять будет ругаться.

Взмахнув помпоном, она запрокинула голову, глядя на меня со своих четверенок.

– Ты же тоже роешься, – заявила она.

– Я – другое дело. Я здесь работаю, – неуверенно ответил я. – Меня за это не нашлепают.

Она с сомнением поджала губы, продолжая изучать половинку расписной фарфоровой супницы.

Меня вдруг осенили идея, от которой на душе потеплело, и посреди помойки даже возник откуда ни возьмись бесподобный аромат кофе со сливками и горячих плюшек с корицей. Обонятельная галлюцинация, мне кто-то уже о таком рассказывал. Я тут же завел речь о Пьеротти.

– Понимаешь, – сказал я, – он страшно одинок, да и в подвале жить не привык. Возьми его домой! Мы выльем на него целый флакон гвоздичного одеколona.

– Ничего не выйдет, – грустно сказала она. – Выкинут. Я уже двух котят приносила. Выкинули. Если спрятать? Но у меня же ничего своего нет, а в ихнем шкафу сразу найдут. И сразу выкинут. Мама каждый день убирает.

Моя надежда умерла. Нет, только не это! Во второй раз ему этого не пережить.

– А ты сам не можешь его взять?

– Нет, не я... Это может только ребенок. Деревянные куклы не выживают со взрослыми. Иногда мы, большие, как бы это сказать... дяди, – я горько усмехнулся, – вспоминаем разные разности. Например, как мы учились ходить или как собирали мухоморы... и всё такое. Тогда снова вещи начинают разговаривать, куклы оживают, и вообще начинается эпоха неоромантизма... Но это ненадолго. Взрослые всегда снова становятся взрослыми. У нас ведь дела... слишком много дел. А деревянные куклы тоскуют и могут даже умереть. Поэтому-то они и должны быть рядом с детьми.

Прикрути, несчастный, начитавшийся Сент-Экса сентименталист, водопроводный кран своего красноречия! Всё в этом мире рассчитано до мельчайших подробностей. Куклы отечественного производства покупаются в магазинах, иностранные Барби привозятся из стран народной демократии. Не может быть никакого Эрметте Пьеротти. Из мусоропровода в порядочный дом ничего не берут. Дети любят пластмассовые автомобили и автоматы. Чтобы тарактели погромче. Нет, это взрослые любят всякую бездушную пакость и прививают детям любовь к чистоте и порядку. Словно забыли, как сами делали пудру из цветных бутылочных осколков.

Я сидел в своей комнате на диване и пускал дым через нос – одна из немногих привилегий, предоставленных мне возрастом – и думал, думал, думал. Весь день я думал о судьбе бедного Пьеротти. И вспоминал, вспоминал, вспоминал, словно мне уже исполнилось восемьдесят четыре года и я стал ровесником века...

В этот день я так и не заснул. Папиросные бычки сгрудились в пепельнице, воздвигнув памятник самим себе. Ближе к утру пришлось набивать ими трубку. Здесь утро не отличить от вечера. Я оделся и вышел в темноту, зевая и ежась от озноба.

Пьеротти мирно спал, сидя в углу и свесив голову на грудь.

– Спи-спи, – подумал я. – Может, ты счастлив, когда спишь. Видишь во сне Италию. Вон как разулыбался.

И я отправился обходить другие подвалы. А потом снова встретил ее.

– Он спит, – сказал я с видом заговорщика. – И он счастлив, если еще не проснулся.

– Спит? – удивилась она. – На чем?

– На полу, – мне стало стыдно.

– Ага. Мама говорит, что все мужчины одинаковые. Одеяло я для него нашла, и еще чашку, только ручки нету. А вот это, – она хлопнула рукой по серой диванной подушке, прожженной в трех местах, – как ты думаешь, это похоже на кровать?

– Конечно! Это прекрасная кровать, и вообще... Ужас, до чего я оступел! Ведь у меня есть настоящий детский стульчик, зеркальце и замечательная картина в рамке!

Расставляя втроем вещи в подвале, мы были на седьмом небе от счастья, отчаянно спорили, как будет удобнее и красивей. Вот здесь будет висеть картина, изображающая венецианский полдень, канал, гондолу и дома, висящие вниз головой в светлой, полной солнца воде... Где же они теперь, куда, черт возьми, запропастились все эти предметы быта зажиточных горожан? Почему я не взял их с собой, уходя навсегда из той огромной квартиры, где стулья были выше меня? Неужели уже не вернуться туда, пройдя сквозь медленный танец тысяч пылинок в теплом луче? Пробравшись сквозь сон бледных лет и случайных событий, я притащил бы из этой экспедиции все сокровища заброшенного на Коммунистической улице замка сюда, в этот серый бетонный подвал.

– Друзья мои! – сказал Пьеротти, наконец, блаженно развалившись на подушке. – Тутти амици мии! Давно я так не смеялся. Синьорина, присядьте на этот стул, вдруг да у него ножки подломятся! Поверьте, я с трудом сдерживаю слезы. Надеюсь, вы будете часто навещать меня в этом жилище. О Санта-Лючия, покровительница суфлеров! Сегодня я чувствую себя молодым и пылким. Мне хочется петь. Да, именно петь, а не плясать! Петь!

Когда подкатит к горлу ком
И слезы душат, душат, ду-у-ушат —
Ты вспомни милый отчий дом!
Его бом-бом,
Его бом-бом,
И ураганы не разрушат!
Прими из рук ея бокал,
Придвинь к камину ближе кресло
И вспомни тот картонный бал,
Где танцовал,
Где умирал,
И снова воскресал чудесно!
Еще глоток – и голова
Уже кружится, улетает,
И тают блédные слова,
И кружева,
И кружева,
Как эти свечи оплывают.

Немного старомодно, дамы и господа. Так пели во времена моей юности.

И Пьеротти загрузил. Он всегда внезапно переходил от безудержного веселья к меланхолии, но умел так же неожиданно возвращаться назад. И в этом я, восхищаясь, ему завидовал.

Мы часто проводили время вместе, но гораздо больше времени он проводил в одиночестве. Он не жаловался. Я подозреваю, что в эти долгие часы он просто спал и видел во сне что-нибудь приятное. Он признавался, что воображение его причудливо и экстравагантно, извилистые ступени сна нередко заводят его далеко-далеко, колеблющиеся и зеркальные, посещают его сновидения, в которых действующие лица разговаривают задом-наперед, в которых легко летать, но трудно бегать, гротескные маски растекаются радужными разводами по медленно движущимся горбатым мостовым, а сухо позвякивающее низкое небо, вращаясь, пересыпается стеклянными цветами калейдоскопа.

В тот день всё резко изменилось. Изменилось направление ветра и атмосферное давление, антициклон поменялся местами с циклоном, северный полюс возомнил себя южным, и от этого похолодало. Всё вокруг замерзло, схваченное твердой скорлупой мутного стекла. Я ждал дальнейших перемен, как насморчный ждет тяжелого гонконгского гриппа с жаром и бредом. И открывая подвальную дверь, я уже чувствовал что-то, словно она своим пронзительным скрипом предупреждала традиционное «как поживаете».

Что-то живое и неуклюжее проковыляло и скрылось из виду, когда я зажег свет. Всё вокруг было разгромлено, и Пьеротти сидел на полу, бессмысленно глядя в одну точку. Мне не сразу удалось привести его в чувство.

– Не спорю, – проскрипел он наконец, едва выговаривая слова, – Он повелел нам любить... всё живое, но... крысы не вызывают моего восхищения.

Сказав это, он снова надолго умолк. Я попытался навести порядок в разгромленном жилище, но он прервал меня, затараторив быстрым шепотом:

– Я ничего не имею против, но есть же и у меня эстетическое чувство? Что-то произошло со светилami, и они совсем распоясались. Санта-Франческа-Горжеточка, покровительница дебютанток, я знаю, что я несъедобен, но есть же и у меня эстетическое чувство! Кроме того, невозможно сосредоточиться. Может быть, их король в бозе почил или же у них контрреволюция в рядах оппозиции. Я ничего не имею против, но есть же и у меня эстетическое чувство! Отвратительные хвосты, хоть зарежьте, мерзкие лапы, гадкие физиономии! Я спал и

думал, что это мне снится, и я сказал себе во сне: «Ха-ха, Эрметте, сейчас мы обхитрим их всех. Мы проснемся, и они останутся с носом». Я проснулся. Сантиссима-Виолина, заступница нотных пюпитров, лучше бы я спал дальше! И я понимаю их всех, и тех, и этих, и даже всех прочих, которые сами себя не... да и всё это, конечно, мелочи перед лицом вечности, но есть же и у меня эстетическое чувство?

Он замолчал, растянув рот в неизменной улыбке, но глядя на меня с таким страданием, словно умолял не отнимать у него право на эстетическое чувство – единственную опору его хрупкого достоинства.

– Знаешь что, – решительно сказал я, беря его на руки. – Я лучше переселю тебя в другой подвал. Там нет никаких щелей и переходов, всего одна маленькая камера. Крысы туда не проберутся. Правда, там, к сожалению нет света...

– Это значительное неудобство, – заметил Пьеротти. – Я имею в виду свое нелепое неумение видеть в темноте.

Мне стыдно было входить в подробности о том, что когда-то там была лампочка, но что-то сгорело, оборвалось, Жэковские электрики запили на всю зиму, а я попросту боюсь возиться с оголенными проводами.

– Темнота, – задумчиво произнес он. – Мрак. Во всяком случае, спать это не мешает. Жаль только, что картины там, вероятно, не разглядеть. Я очень полюбил этот венецианский пейзаж. Он напоминает мне о тех днях, когда я исполнял роль лодочника в одной политической безделке. Представь себе, как раз вчера я нашел здесь вот это. Пятьдесят лиретт. Ничего особенного, безделица, чепуха. Но я подумал, что иногда вечерами, когда я один, я буду доставать эту итальянскую монетку и подолгу, знаешь ли, эдак разглядывать ее. Интересно, кому пришло в голову ее выбросить? Удивительно смешные мысли и, я бы даже сказал, суетные соображения! Теперь она мне больше не понадобится. Лучше передать ее той, что так заботливо помогала нам создавать эту мизансцену.

– Не пойму, где она, – ответил я. – Целую неделю ее нет на улице. Боюсь, что она простудилась.

– О Санта-Джануария, покровительница морозцев знатных! Только бы ее не наказали! Только не это! Я знаю, ей нельзя было сюда ходить. Но ты обязательно найди ее! А сейчас – еще один куплет, и я готов следовать за тобой.

Мы все перелетные птицы,
Но вновь не отыщем гнезда, та-та-та!
Прощайте, знакомые лица, ла-ла!
И милая сердцу звезда!
Всё, идем!

И я на руках отнес его туда, куда не проник бы свет звезды, даже если она неизвестно как и возникла бы в этом тяжелом зимнем небе.

Как же так? Имели право жительство, заканчивали университеты и высшие женские курсы, перед мастером изящной светописы не робели и, принимая полные достоинства позы, спокойно смотрели в будущее. Красивый, как итальянец, цвета сепии господин в сюртуке, мой предок по мужской линии, смотрит на меня с фотографии, явно недоумевая:

– Почему ты стал... этим... ну как же это... мусорником?

Я молчу. Я и сам не знаю.

– В детстве ты подавал какие-нибудь надежды?

Конечно, подавал. Кому? Зачем? Несчастные благодарили, кланялись, не подозревая, что я их обманываю.

– К чему ты проявлял склонность?

Самую явную склонность я проявлял к кривлянию и паясничанью. Круглая коробка театрального грима, неизвестно как попавшая в дом, была моей любимой игрушкой. Я раскрашивал свою восторженную физиономию и кривлялся перед зеркалом – перед огромной дверью зеркального шкафа. Даже шкаф этот был артистический – не шкаф вовсе, даже не комод, а ШИФФОНЬЕРРР! Карррртговое дурррацкое фрррривольное РРРРРРРР, с которррым я кррррррррвляюсь до самозабвения. Ах, Верррттинский, я так устал от лжи и пудррры! А за стеклянной дверррью, внутррри, пррррячутся самые лучшие на свете волшебные костюмы. В бабушкином индийском халате я старррый джинн! Старррый джинн Абдурррахман! ДЖИНН-ДЖИНН-ДЖИНН! ДЗЫН! Я так распаясничался, что разбил зеркало. Один единственный раз в жизни суеверные взрослые наказали меня ремнем. Ну и артист, приговаривали все кругом.

Артист. Ну конечно, артист! Почему мне до сих пор не приходило в голову? Может быть, еще не всё потеряно? Ведь есть же в городе театр марионеток, где куклы играют для детей, а после спектакля отдыхают в чистоте и уюте. Когда-то я видел у них один спектакль. Не слишком высокоталантливо, зато гуманно, не Карабас-Бара-бас какой-нибудь. Я понял, что необходимо как можно скорее встретиться с главным режиссером Сафьян Касьянычем. Жаль, парадного костюма у меня нет. Ну ничего, главное – побриться как следует. А уж парадный подъезд у них имеется.

– Сафиан Касианович репетирует. Если у вас, молодой человек, срочное дело, то можете подождать здесь. В перерыве он пройдет по этому коридору.

И он прошел. Даже любезно выслушал меня.

– Дорогой Сафьян Касьяныч! У меня в подвале талантливый артист, севший, так сказать, на мель. Очень яркий, интеллигентный, разносторонний, но, увы, не молодой. Страшно одинокий. Дайте ему шанс, Сафьян Касьяныч! Нет, Иванушку-дурачка вряд ли... Пьеротти, итальянец... Нет, Сафьян Касьяныч, подозреваю, что художественно-исторической ценности кукла не представляет... нет, увы, не музейный экспонат... Да, Сафьян Касьяныч. Конечно, Сафьян Касьяныч. Я всё понимаю, Сафьян Касьяныч. Извините, Сафьян Касьяныч. До свидания, Сафьян Касьяныч. Желаю вам дальнейших творческих успехов, Сафьян Касьяныч.

Я оделся и вышел на улицу.

– Я забыл вам сказать, Сафьян Касьяныч, что у вас отвратительный кукольный театр, а ваши несчастные свежееокрашенные куклы наводят смертную тоску. Вы ничего не понимаете ни в жизни, ни в искусстве, Сафьян Касьяныч. Вы засушенный артист без публики. Вы бездарь, Сафьян Касьяныч. Вы дурак, Сафьян Касьяныч. Вы индюк, Сафьян Касьяныч.

Я возвращался, с трудом волоча ноги по льду. Так обычно передвигаются по жизни люди, только что лишившиеся иллюзий. У самого дома она схватила меня за руку.

– Ты где была? – спросил я. – Тебя действительно наказали?

– А меня каждый день наказывают. Подумаешь! Просто я кашляла, а папа сказал, что я нарочно, и пока я не прекращу это издевательство, меня не пустят на улицу.

Я понимающе кивнул.

– А когда я стала чихать, мама хотела уложить меня в постель на неделю, но вышло только на четыре дня.

Больше я не могла чихать.

– Мы очень волновались, – сказал я и протянул ей итальянскую монетку. – Это он передал для тебя.

И я рассказал обо всем, что произошло за последнее время.

– Слышишь! Сделай что-нибудь! – потребовала она, дернув меня за рукав. – Ты же большой, не то что я!

Я всё еще боялся признаться в самом неприятном. Я не мог объяснить ей. Она бы не поверила. Я и сам бы не поверил на ее месте. Когда я был маленьким, я знал, что в конце концов вырасту, и всё будет по-другому. Я стану взрослым, сброшу иго вышестоящих товарищей,

и никто уже не сможет распоряжаться моими делами. Я заведу слона, стану зоологом, художником, артистом и великим путешественником. Будет ли у меня жена? Не знаю. Если она будет красивой и полюбит слона, тогда пускай будет.

Решено. Вот только, что делать с Валентиной Васильевной? Я, конечно, обещал на ней жениться, но тогда я был по молодости еще совсем легкомысленным и совершенно не понимал, что она для меня старовата. Этот вопрос я всегда старался как-то обойти. Времени оставалось еще много.

Ну, вот и вырос незаметно. Попал пальцем в небо. Кто мог вообразить, что вместо того, чтобы скитаться по девственным лесам, я стану снимать за тридцать рублей комнату у мрачной Степаниды Петровны, по сравнению с которой Валентина Васильевна казалась гением чистой красоты и вечной юности. Как так случилось, что я, повелитель мусорного царства, завишу от Степаниды Петровны, страдающей клинической брезгливостью и патологическим чистоплюйством? Как мне сознаться в том, что старуха в оба своих базедовых глаза следит за соблюдением чистоты и не разрешает приносить в дом «подозрительное барахло»?

– У вас юношеские, вообще знаешь, фантазии, а у меня комната – не даром достамши. Вас, болезного, может, вообще знаешь, через неделю-другую НКВД увезет. Развели у меня грязь-заразу – и давай бог ноги. А у меня жильцы.

Если Степанида Петровна выследит Пьеротти, она сгребет его... нет, хуже – она побрезгует сама его трогать, а вместо этого потребует, чтобы я сам, сей же час, сию минуту, собственными руками...

– Иначе, вообще знаешь, можете сами отсюда выметаться.

А на другое утро прорвало отопительную систему. Подвалы были полны горячей воды. Начальница ЖЭКа пыталась что-то сказать, но путалась, едва ворочая заплетавшимся языком:

– Авждя...згим...лксм...

Это было страшно.

Я подцепил Пьеротти лопатой, вытащил и, прижимая его к себе, со всех ног бросился домой. У подъезда я во весь рост растянулся на льду. Он тихо рассмеялся и затараторил:

– Грация-грация, Санта Авиация! Снова спасен! Но это, кажется, конец. Финита ла комедиа! Она держит слово, но к чему излишняя жестокость, эти ужасы средневековья... аввеленаменто... миа аввентура... Ха-ха! Сенца мотиво... инондационе! Контро, контро! Ха-ха! Салуто!

К двери моей комнаты была куском изоленты приклеена записка:

«Уехала к пыменнику в Сестрореки. Буду скоро. Никого не преводить»

Наконец-то нам повезло!

Ему было очень плохо. Старая краска на лице пошла пузырями. Я закутал его в полотенце.

– Пупацца! Она держит слово...

Я бормотал какие-то утешения, еще более нелепые, чем его бред. Мало-помалу он успокоился и задремал в полотенце.

Часы затикали громче обычного. Пустота зашевелилась и стала осыпаться у меня перед глазами. Я увидел песок, медленно осыпающееся небо песка, песок сверху и песок снизу. Всё кругом было песком и осыпалось, тикая каждой песчинкой. Я поднес ладонь к глазам, и в ней, тоже ставшей песком, увидел много дорог, извилистыми путями ведущих в одну точку, бесконечно падающую в песчаную бездну. По одной из ветвящихся троп кто-то неразличимый двигался мне навстречу.

– Кто там? – спросил я.

– Я иду не к тебе, – ответил звонкий детский голос. – Всеу свое время. Гадкие мальчишки заблудились между Джудеккой и Долиной Духов, а еще строят из себя умников, дразнятся тещинными языками!

– Нам надо репетировать шествие... тировать шествие! – зазвенели далекие голоса. – Завтра мы убегаем в Италию... гаем в Италию!

– Парадный марш еще не выучен как следует! – прежний голос рассмеялся своей строгости, и я понял, кому он принадлежит. – Барабан потеряли, противные сорванцы, а тещины языки фальшивят. До завтра! Я приду ровно в восемь. Прощайтесь-целуйтесь!

Комната приняла свой обычный вид, и я почувствовал, что Пьеротти выбрался из полотенца и держит меня за руку.

– Она держит слово, – сказал он, радостно улыбаясь. – Мы отправимся в Италию.

– Ты не боишься? – спросил я, всматриваясь в его сияющую физиономию.

– Боюсь чего? – переспросил он. – Я боялся заблудиться и угодить в какой-нибудь Кривой Рот или в Великие Чесноки, потому что не знал, направо идти или налево. Но ведь теперь сама Маленькая Смерть поведет меня.

– Да, Эрметте, ты прав. Теперь бояться нечего. Деревянными куклам не должно быть страшно. Но людям свойственно ждать от смерти всяких подвохов.

– Ну, – ответил он, похлопав меня по руке. – Тощей лысой старухи с косой, пожалуй, и я бы испугался.

– Наверное, Маленькая Смерть приходит только к куклам и к детям. Ведь взрослые успевают наделать столько глупостей...

– Взрослые? – усмехнулся Пьеротти. – Это какие же?

Я пожал плечами.

– Боишься, что тебя не пустят в наше изысканное общество? – он лукаво посмотрел на меня, повернув голову набок, словно птица. – Нашкодил и теперь опасается, что его поставят в угол! Санта Корбонада, покровительница грачей прилетели! Взрослый! Не кажется ли вам, синьоры, что он сильно изменился за последние десятилетия? Не кажется? Ну да, вот и я того же мнения... Что-то я слабоват. А ведь осталось еще что-то важное. К утру она придет за мной. Я так боюсь, что мы не успеем проститься. Знаешь, я хотел бы снова увидеть ту девочку... чтобы мы все сидели рядом и чтобы всем было жу-уутко весело. А потом мы простимся. Можно?

– Я найду ее, – пообещал я. – Только бы она сегодня не кашляла!

– Нет-нет! Сегодня она не может кашлять, – заявил он. – Когда всё так хорошо... Мы устроим концерт. Настоящий концерт! Прощальная гастроль Эрметте Пьеротти! Ты ведь устраивал концерты с молодых ногтей, а?

Конечно, Эрметте. Мы жить не могли без концертов. Каждое лето было красно большим сборным концертом без заявок, готовившимся долго и основательно. Если концерт не состоялся, можете считать, что вы зазря отсидели в этой дачной скучище всё лето. Зря пили вонючее парное молоко, мазались демитилфталатом от гнуса и читали древние журналы «Работница». Лето пошло псу под хвост. Хорошо, что такой бессмысленный год выдавался редко.

Состав труппы, конечно, менялся, но уж без нас, клоунов, было не обойтись. Конечно, бывало и обязательное занудство, потому что какая-нибудь четырнадцатилетняя особа обязательно хотела петь украинскую народную песню «Ой, за гаем-гаем» или читать поэму «Железная дорога». Хуже нет этих недовзрослевших страдалиц! Да и публике эти номера не нравились. А вот когда появлялись мы, клоуны, тогда сразу становилось ясно, зачем человек рождается на свет. По крайней мере, это было ясно нам, клоунам.

Она не кашляла. Она снова гуляла во дворе и еще издали замахала мне рукой.

– Пьеротти хочет устроить прощальный концерт, – сообщил я тоном заговорщика. – Зайдешь?

– Вот здорово! – запрыгала она. – Только мне мама строго-настрого запретила ухаживать со двора...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.